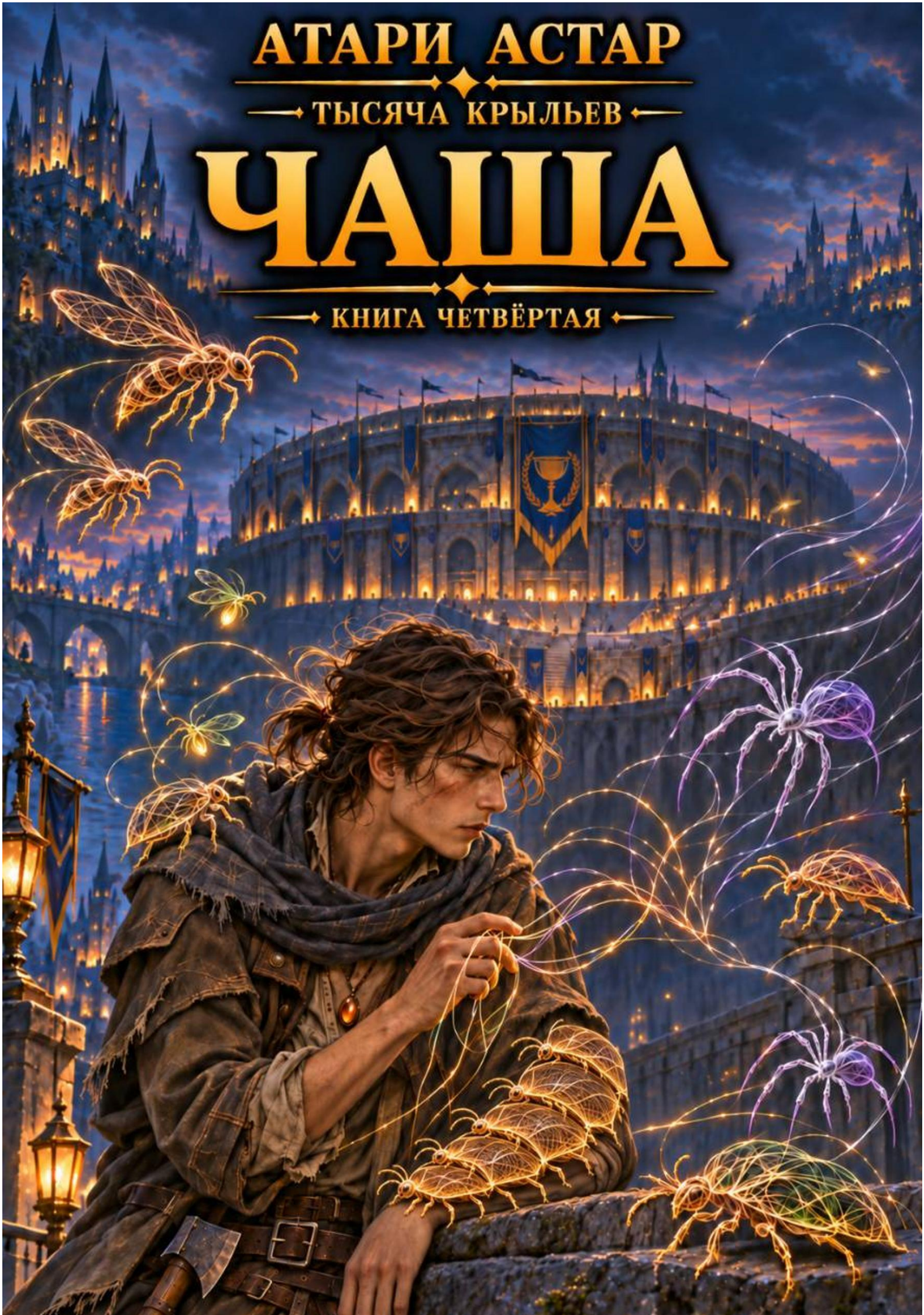

АТАРИ АСТАР
ТЫСЯЧА КРЫЛЬЕВ
ЧАША
КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

Атари Астар

Чаша

«Тайниковский»
2026

Астар А.

Чаша / А. Астар — «Тайниковский», 2026

В Аэвене начинается Турнир Семи Холмов. Победителю достанется право на одно прошение к императору — и Тэйну оно нужно не ради славы или награды.Он хочет изменить судьбу тех, кого Реестр считает своей собственностью. Но Турнир проверяет не только силу плетения: рушатся опоры, гаснет огонь, вода стирает нити, а за каждым испытанием может скрываться чужой замысел. Пока Тэйн держится за друзей и учится создавать новые плетения, в древних водоводах звучит странный знак, а в янтаре на его груди появляется серебряная нить.Каждая победа приближает Тэйна к прошению. И к ответу на вопрос: хватит ли его нитей, чтобы удержать всех, кого он решил спасти?

© Астар А., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1. Леса на колокольне 6
Глава 2. Бронза 13
Глава 3. Крыша 20
Глава 4. Купол 27
Глава 5. Северный холм 34
Глава 6. Восточный холм 41
Глава 7. Живое и щит 48
Глава 8. Сто двадцать восемь 55
Г 63
Конец ознакомительного фрагмента. 64

Чаша

Глава 1. Леса на колокольне

Аэвен встретил нас флагами.

Их было столько, что белого камня почти не было видно. На каждом фасаде, на каждом балконе, на каждом чугунном фонарном столбе — полотнища. Синие с серебром, зелёные с золотом, красные, жёлтые, чёрные. Гербы великих домов, гербы гильдий, гербы городов. Колокол, перевитый лентой. Солнце над тремя башнями. Шпиль с тремя чертами. Медведь, похожий на козу, — я увидел его на одном окне в Кедровом и чуть не выпал из кареты.

— Брам, — усмехнулся Сорен. — Он здесь.

А над всем этим — над холмами, над крышами, над акведуком Семи Арок — висели гирлянды. Тысячи. Из цветных стеклянных шаров, нанизанных на проволоку. Днём они просто блестели. Ночью, сказал возница, их зажгут — и весь Аэвен будет светиться, как праздничный пирог.

— Чем зажгут? — спросила Рия.

Возница посмотрел на девушку через плечо, как на дурочку.

— Хэлмом, — бросил он. — Чем же ещё.

Рия замолчала. Мы все замолчали.

Белого хэлма в Аэвене стало меньше — Иса говорила, цены на него выросли втрое за зиму, Служба Наполнения ругалась на весь город, — но на Турнир его нашли. На Турнир всегда находят.

* * *

Карета въехала в город через Южные ворота и поползла вверх, к Кедровому, — медленно, как ползёт жук по травинке. Улицы были забиты. Телеги, кареты, всадники, пешие. Люди в дорожных плащах, с мешками, с детьми на плечах. Торговцы с лотками. Глашатаи. Мальчишки, продающие листки с именами кандидатов — «Все гильдии! Все гербы! Кто на кого ставит!» — за клипп.

Сорен купил листок. Развернул.

— Нас нет, — сообщил разведчик.

— Нас ещё не записали, — пояснила Иса. — Регистрация — завтра. В Палате.

— А на кого ставят?

Сорен водил пальцем по строчкам.

— «Золотой Круг», Корнелий Орре — один к трём. Академия, без имён — один к двум. Садовники, Талла — один к восьми. Шпиль, Лориан Хейз — один к шести. Дом Колоколов, Эдрик Вэлмонт — один к десяти, — он перевернул листок. — Захолустные гильдии — одной строкой. «Прочие — один к двумстам».

— Это мы, — вздохнул Лейн.

— Это мы, — согласился Сорен и вдруг засмеялся. — Лесоруб. В прошлый раз на ступенях Палаты ты был один к ста.

— Это был не Турнир.

— Ставки растут, — философски заметил согильдеец.

* * *

Колокольню Дома Колоколов было видно с середины Кедрового.

Высокая, белая, тонкая, с острой черепичной крышей, — она стояла на Золотом холме, над всеми домами, и в её верхнем ярусе висел колокол. Огромный, бронзовый, тёмный от времени. Вэлмонтовский. Тот самый, что на гербе.

Колокольню чинили. К Турниру. Её обнесли лесами — деревянными, многоярусными, с лестницами, с помостами, с подъёмными блоками на самом верху. Леса уходили вверх, до

самого колокола, — сосновые жерди, связанные пенькой, сбитые скобами. Я смотрел на них, пока карета ползла через Кедровый, и у меня чесались руки.

Плохо связаны.

Не знаю, откуда я знал. С такого расстояния не видно ни узлов, ни скоб. Но я смотрел на леса, как смотрел на ветровал в Тарвене, — и видел, как они стоят. Неровно. Тяжело. Вся тяжесть — на двух нижних стойках с северной стороны. Будто кто-то строил их снизу вверх и ни разу не подумал, куда пойдёт вес, когда наверху поднимут колокол.

— Тэйн, — окликнула Рия. — Ты чего?

— Леса, — пробормотал я.

— Что — леса?

Я не ответил. Смотрел.

На самом верху, у колокола, работали люди. Маленькие, как муравьи. Крутили ворот подъёмного блока. Колокол на канатах медленно, медленно поднимался из ниши — его снимали. Чтобы почистить к Турниру, наверное. Или заменить ось.

Колокол качнулся на канатах. Весь его вес — тонна, две — пошёл на блок. Блок — на верхний помост. Верхний помост — на стойки.

На северные стойки.

— Остановите карету, — велел я.

* * *

Я выпрыгнул на ходу. Сорен — за мной, на полвдоха раньше, чем я решил прыгнуть. Он всегда так.

— Что?

— Леса ляжут, — ответил я. — На север. На рыночную площадь.

Сорен посмотрел вверх. Потом вниз — туда, куда смотрел я. Под колокольней, у подножия Золотого холма, где он переходил в Кедровый, была площадь. Рыночная. Битком. Лотки, навесы, люди. Сотни.

— Сколько? — коротко спросил Сорен.

— Не знаю. Если колокол сорвётся — сразу.

Я побежал.

Через Кедровый, вверх по ступеням, через переулки, мимо галерей, — я бежал, и тело несло меня, как река несёт лодку. Ноги не уставали. Дыхание не сбивалось. Кандел. Год назад я бы задохнулся на половине пути.

На бегу я позвал бурых.

Пятерых. Отправил вперёд — к колокольне, к лесам, низко над крышами. Через полсотни вдохов жуки долетели. Ушли в дерево. В нижние стойки — северные, те, на которых держался вес.

И я услышал леса.

Сосна. Свежая, этой весной рубленая, ещё мокрая внутри. Пенька — новая, тугая. Скобы — железные. Но связано… Связано так, как связывает человек, который никогда не видел, как падает дерево.

Северные стойки стонали. Тихо, глубоко, — я чувствовал этот стон через бурых, как чувствуешь стон человека через стену. Они держали. Пока. Колокол наверху висел на канатах, качался, — и каждый раз, когда он качался на север, стойки стонали громче.

Сто вдохов. Может, меньше.

* * *

Площадь под колокольней была полна.

Я выскочил на неё из переулка и остановился. Люди. Торговцы, покупатели, дети. Кто-то торговался за капусту. Кто-то нёс корзину с яйцами. Мальчишки гоняли мяч между лотками. Никто не смотрел вверх.

Леса нависали над северным краем площади. Над рядами лотков — с тканями, с посудой, с игрушками. Над детьми с мячом.

— Уходите! — крикнул я. — С площади! Леса падают!

На меня посмотрели. Человек десять. Посмотрели — и отвернулись. Какой-то парень в рабочей куртке кричит что-то про леса. Мало ли кто кричит в Аэвене за сорок дней до Турнира.

Сорен выскочил рядом.

— Не слушают, — выдохнул я.

— Не слушают, — согласился Сорен и пошёл к лоткам. Быстро, ловко, на полвдоха раньше всех. Разведчик не кричал. Он хватал. Мальчишку с мячом — за шиворот. Торговку с тканями — за локоть. Ещё одного мальчишку. Девочку. Тащил с северного края площади на южный, а они упирались, ругались, кричали, — и пока они ругались, он уже тащил следующих.

Это было лучше, чем кричать.

Я поднял голову.

Колокол наверху качнулся. На север. Далеко.

Северные стойки — хрустнули.

* * *

Это было не как обвал в Хэлме. Там — тяжело, медленно, неотвратимо, как ледоход. Здесь — быстро. Леса были лёгкие, жердяные, — и они пошли, как идёт сломанная ветка. Верхний помост накренился. Блок наверху дёрнулся. Колокол на канатах — сорвался с одного и повис на другом, раскачиваясь, как маятник, и тянул весь верх лесов за собой.

На север.

На площадь.

Я позвал всех.

Шестнадцать нитей. Пять бурых уже сидели в лесах. Я позвал ещё — железных. Три. Девять нитей. Тяжёлых, плотных, серых. Отправил вверх, к середине лесов, туда, где стойки уже гнулись.

Жуки впились в дерево. Не грызть. Держать.

Как в Хэлме. Как клинья под сводом. Только там свод давил сверху, а здесь — леса падали вбок. Железные вцепились в сосну жвалами, в узлы, в скобы, и — держали. Я держал их. Через нити. Через тело. Как держал свод.

Леса — остановились.

Не встали обратно. Остановились. Наклонённые, кривые, нависшие над площадью под углом, как падающее дерево, которое зацепилось за соседнее. Колокол наверху раскачивался на последнем канате. Каждый раз, когда он качался, — леса дёргались. И железные проседали.

Я стоял посреди площади, подняв руки, — не знаю зачем, руками я ничего не держал, — и держал.

Тяжело.

Тяжелее, чем свод. Свод не качался.

* * *

— Сорен! — крикнул я. — Сколько осталось?

— Двадцать! — Сорен тащил старуху с корзиной. — Двадцать человек! Пятнадцать!

Колокол качнулся.

Один из железных — тот, что держал верхний узел, — дрогнул. Нить натянулась, зазвенела. Я почувствовал, как он соскальзывает.

Ещё один. Три нити. Я позвал. Сплёл на лету — быстро, как никогда не плёл раньше. Отправил вверх. Новый жук впился в тот же узел, рядом с первым.

Двенадцать нитей. Осталось четыре.

— Десять! — кричал Сорен.

Колокол качнулся. Сильнее. Канат — последний — затрещал.

И под лесами, у самого края площади, у лотка с игрушками, я увидел девочку.

Маленькую. Лет пяти. Малышка стояла у лотка, держа в руках деревянную лошадку, и смотрела вверх. На колокол. Открыв рот. Не боялась — смотрела, как смотрят на что-то красивое.

Сорен был на другом конце площади.

Канат лопнул.

* * *

Колокол упал.

Не на площадь — на леса. На верхний помост. С грохотом, от которого у меня зазвенело в зубах. Помост проломился. Леса — те, что я держал, — дёрнулись так, что два железных сорвались разом. Удар отдачи — в голову, в грудь, в руки. Я качнулся.

Колокол катился вниз. По наклонным лесам. Как по горке. Ломая жерди, срывая помосты. К краю. К площади.

К девочке.

Я не думал.

Я побежал. К ней. Через площадь. Двадцать шагов. Пятнадцать. Тело несло. Колокол падал. Десять.

Я схватил девочку. Прижал к себе. Развернулся спиной к колоколу.

И вывел Покров.

На спину. На плечи. На голову. На всё тело. Сразу. Плотно. Как кожух.

И — сам не зная как — дальше.

На неё. На девочку у меня в руках. Как той ночью на площадке с Рией — переливая с ладони на ладонь. Только сейчас — не с ладони. Со всего себя.

Над нами — что-то сплелось.

* * *

Колокол ударил.

Не в нас. Рядом. В землю, в шаге от моих ног. Площадь вздрогнула. Камни мостовой треснули, разлетелись. Пыль, грохот, звон — колокол, падая, ударил языком о край, и над площадью поплыл гул. Низкий, тяжёлый, огромный. Колокол Дома Колоколов звонил — лёжа на мостовой, с трещиной через весь бок.

А сверху сыпались леса. Жерди, доски, обломки помостов. На нас.

Я стоял, согнувшись над девочкой. Покров на спине.

Жердь ударила меня в плечо. Соскользнула. Доска — в спину. Отскочила. Обломок помоста — по голове. Скользнул.

А над девочкой — над её головой, над плечами — висела пластина.

Медовая. Прозрачная. Кривая. Как в Хэлме, над Лейном. Только больше. И — не одна. Две. Три. Они сцепились краями — неровно, криво, как черепица на крыше, которую клал пьяный кровельщик. Купол. Маленький. Над ребёнком.

Обломки били в него — и соскальзывали. Пластины трескались. Одна. Вторая. Держали.

Потом всё кончилось.

Леса легли. Колокол замолчал. Пыль оседала.

Пластины над девочкой — растаяли. С запахом смолы.

* * *

Я выпрямился. Медленно. Спина болела — не сильно, как от удара палкой через стёганку. Плечо ныло. В голове звенело — то ли от колокола, то ли от отдачи.

Девочка смотрела на меня. Снизу вверх. Деревянная лошадка у неё в руках была цела.

— Ты кто? — спросила малышка.

— Лесоруб, — ответил я.

— А что это было? Жёлтое?

Я посмотрел на свои руки. На то место над её головой, где только что висели пластины.

— Не знаю, — признался я. — Пока.

К нам бежала женщина. Растрёпанная, белая, кричащая. Мать. Она выхватила дочку у меня из рук — не благодаря, не глядя на меня, — прижала к себе и побежала прочь, через площадь.

Девочка через её плечо смотрела на меня. Помахала лошадкой.

* * *

Вокруг собиралась толпа.

Сначала — медленно, из переулков, из-за лотков, с южного края площади, куда их утащил Сорен. Потом — быстрее. Люди смотрели на колокол, лежащий на мостовой с трещиной через весь бок. На груду лесов. На меня, стоящего посреди этого с пылью на волосах.

Шептались.

— …жуки…

— …видел, держал…

— …жёлтое такое…

— …с моста, говорят, из Истмара…

— …лесоруб…

Сорен пробился ко мне сквозь толпу. Посмотрел на меня. На колокол.

— Все, — выдохнул разведчик. — Все ушли. Последнего — бабку с капустой — я вытащил за вдох до того, как колокол упал. Она меня обругала, — он сплюнул пыль. — Лесоруб. Что это было — над девчонкой?

— Не знаю.

— Как в Хэлме?

— Как в Хэлме. Только больше.

Согильдеец смотрел на меня. Потом — вверх. На колокольню, голую теперь, без лесов, белую, тонкую.

— Пепел и соль, — с чувством произнёс он. — Мы в Аэвене полдня. Полдня, лесоруб.

* * *

— Лесоруб!

Голос. Сверху. С лестницы, ведущей с Золотого холма на площадь.

По ступеням спускался человек. Быстро, неровно — припадая на правую ногу. Опираясь на трость. Светлые волосы, синий с серебром камзол.

Эдрик Вэлмонт.

Молодой лорд остановился на нижней ступени. Посмотрел на колокол. На груду лесов. На меня.

— Наш колокол, — глухо сказал он.

— Ваш.

— Он висел на этой колокольне двести лет, — Эдрик смотрел на трещину через бронзовый бок. — Отец хотел, чтобы в день открытия Турнира он звонил. Первым. Раньше всех колоколов Аэвена. — Пауза. — Он не будет звонить.

— Мне жаль.

Вэлмонт поднял на меня глаза.

— Тебе жаль, — повторил он. — Ты держал леса. Я видел из окна. Ты держал их сто вдохов. Пока твой ножовый вытаскивал людей, — он спустился с последней ступени. Подошёл ко мне. — Леса строил подрядчик, которого нанял отец. Подрядчик сэкономил на узлах. Отец сэкономил на подрядчике, — Эдрик посмотрел на площадь. На людей. — Если бы ты не держал — здесь лежали бы не леса.

И протянул руку.

— Второй раз, — сказал он. — Сначала — водовод под Сводом. Теперь — колокол, — молодой лорд чуть улыбнулся. — У меня кончаются ноги, чтобы ты меня за них спасал. Придётся за что-нибудь другое.

Я пожал его руку.

— Ты кандидат? — спросил я.

— От Дома Колоколов, — ответил Эдрик. — Один к десяти, — он посмотрел на колокол. — Теперь, наверное, один к двадцати. Плохая примета.

* * *

Карета догнала нас, когда Эдрик ушёл наверх, к отцу.

Иса вылезла первой. Посмотрела на колокол. На леса. На трещину в мостовой. На меня. Ничего не сказала — достала книгу и что-то записала. Рия выпрыгнула следом, подбежала, развернула меня за плечо спиной к себе и задрала рубаху.

— Синяк, — объявила она. — Один. Вот такой, — подруга приложила к моей спине ладонь, растопырив пальцы. — Меньше ладони. От колокола.

— Не от колокола. От доски.

— От доски, — согласилась Рия и отпустила рубаху. — Год назад от такой доски ты бы лежал неделю.

Лейн стоял у колокола. Смотрел на трещину. Потом осторожно, одним пальцем, тронул бронзу.

Колокол загудел. Тихо, низко, долго. Как гудит в груди, когда долго не плачешь.

Мальчик отдёрнул палец. Посмотрел на меня.

— Это был щит? — спросил Лейн. — Жёлтое. Над девочкой. Как надо мной в Хэлме.

— Не знаю, Лейн.

— Это был щит, — уверенно заявил мальчишка. — Я помню. Оно пахло, как ёлка.

* * *

Управляющий Вэлмонтов появился, когда мы уже собирались уходить.

Худой, с бакенбардами, в ливрее с колоколом на груди. Он спустился по лестнице с Золотого холма почти бегом, остановился у колокола, схватился за сердце. Потом увидел меня. Нашёл глазами — сразу, будто ему уже показали.

— Это вы, — выдохнул он. — Лесоруб. С жуками.

— Я.

— Колокол, — дрожащим голосом проговорил управляющий. — Двести лет. Литьё старого мастера Гиллора. Его невозможно заменить, — он ткнул пальцем в трещину. — Вы понимаете, кто будет платить?

Иса закрыла книгу.

Счетовод подошла к управляющему. Маленькая, остроносая, в чёрной куртке, — на голову ниже его. Посмотрела снизу вверх.

— Подрядчик, — сказала Иса.

Управляющий моргнул.

— Леса строил подрядчик, — невозмутимо продолжила она. — Нанятый домом Вэлмонт. Подрядчик сэкономил на узлах. Это видел весь рынок, — Иса открыла книгу на чистой странице. — Член гильдии Седьмая Опора удерживал леса сто вдохов, пока его товарищ выводил с площади людей. Это тоже видел весь рынок. Статья сорок третья Устава гильдий: угроза жизни горожан. Член гильдии, предотвративший угрозу, вправе требовать платы с того, по чьей вине угроза возникла, — она обмакнула перо. — Как зовут подрядчика?

Управляющий открыл рот. Закрыл.

— Молодой лорд Эдрик уже сказал, что дом ответит сам, — наконец, уже тише, произнёс он.

— Тогда передайте молодому лорду Эдрику, — ответила счетовод, — что Седьмая Опора не требует платы, — она закрыла книгу. — Пока.

Управляющий ушёл. Быстро, не оглядываясь.

Сорен смотрел на Ису с восторгом.

— Ты только что отказалась от денег, — сказал разведчик.

— Я только что положила их в долг, — поправила Иса. — Это разные вещи, — она посмотрела на меня. — Лесоруб. Мы ещё не записаны на Турнир. Мы в городе полдня. А ты уже разбил главный колокол Золотого холма.

— Я не разбивал. Он упал.

— Это никого не будет волновать, — отрезала счетовод. — Завтра в листках напишут: «Лесоруб из-под моста разбил колокол Вэлмонтов». — Подумала. — Или: «спас площадь». Зависит от того, кто напишет.

* * *

Мы ушли с площади, когда пришла стража. Белые плащи, золотые наплечники, вопросы. Эдрик остался разбираться — «это мой колокол, я и отвечу», — и махнул нам рукой: идите.

Мы шли через Кедровый к «Смоляной бочке». Сорен — впереди. Я — за ним. Спина болела. Плечо ныло. Шестнадцать нитей — пустые, звенящие.

На углу, у галереи, я остановился.

Обернулся.

Не знаю почему. Что-то потянуло — как тянет нить, когда на другом конце кто-то дёргает. Я обернулся и посмотрел назад, на площадь, на толпу, которая всё ещё стояла вокруг колокола.

В толпе был человек.

Высокий. Выше всех. В сером дорожном плаще с капюшоном. Он стоял у края, у груды лесов, — спиной ко мне. Смотрел на колокол. Потом нагнулся. Поднял что-то из обломков — я не видел что. Повертел в пальцах. В белых перчатках.

И сказал что-то соседу. Негромко. Но ветер дул с площади, и я услышал.

Не слова. Голос.

Мягкий. Певучий. С проглоченными окончаниями. Будто не говорил, а пел.

— …хорошо держит.

Незнакомец выпрямился. Повернулся.

Капюшон закрывал лицо. Я видел только подбородок — смуглый, тёмный, как старое дерево.

Он посмотрел в мою сторону. Сквозь толпу. Сквозь пятьдесят шагов.

И кивнул. Коротко. Как кивают знакомому через улицу.

Потом толпа сомкнулась — и его не стало.

* * *

— Тэйн, — окликнул Сорен. Он стоял рядом. — Ты чего?

Я смотрел на то место, где только что был человек в сером.

На обломке жерди, у края груды, что-то блестело. Тонкое. Серебряное. Как паутина в росе на рассвете.

И таяло.

— Ничего, — ответил я. — Показалось.

Согильдеец посмотрел туда, куда я смотрел. Ничего не увидел. Посмотрел на меня.

— Тебе в последнее время много что кажется, — заметил он.

Под рубахой у меня капля янтаря была горячей.

Глава 2. Бронза

Утром про колокол писали все листки Аэвена.

Сорен принёс их к завтраку — пять штук, ещё пахнущих типографской краской, — и разложил на угловом столе в «Смоляной бочке», между миской с похлёбкой и кружкой сидра. Одда стояла за стойкой и делала вид, что не слушает.

— «Лесоруб из-под моста разбил колокол Вэлмонтов», — прочёл Сорен. — Это «Вестник Золотого холма», — он отложил листок. — «Колокол Гиллора пал. Виноват подрядчик или жуки?» — это «Ежедневный глашатай». — Следующий. — «Северный лесоруб держал леса сто вдохов. Площадь спасена». Это «Кедровый листок». Тут нас любят.

— А этот? — Лейн показал на последний.

Разведчик взял его. Прочёл про себя. Поднял брови.

— «Ставки на Турнир: лесоруб из-под моста — один к сорока».

Иса подняла голову от книги.

— Вчера было один к двумстам, — заметила она.

— Вчера ты не ронял колоколов, — хмыкнул Сорен. — Растём.

* * *

Брам ворвался в «Бочку», когда я доедал вторую миску.

Огромный, белоголовый, в медвежьей куртке, которая на нём была как жилетка. Остановился в дверях. Посмотрел на меня. На Рию. На Сорена.

— Лесоруб! — заревел он на всю таверну.

Одда за стойкой вздрогнула и уронила половник.

Брам пересёк зал в три шага, сгрёб меня с лавки и обнял. Так, что у меня хрустнули рёбра, как в объятиях Бо, — только Бо обнимал бережно, а Брам — от души.

— Колокол! — гаркнул он мне в ухо. — Я слышал! Вся Кедровая слышала! Говорят, ты его поймал на лету!

— Не поймал. Он упал.

— Поймал, — уверенно возразил северянин и отпустил меня. — Так интереснее, — он сел на лавку напротив, и лавка застонала. — Одда! Миску. Две.

— Ты мне за прошлую весну ещё должен, — напомнила трактирщица.

— Я тебе крышу покрыл.

— Крыша — это за лестницу. А похлёбка — это за похлёбку.

Здоровяк подумал. Кивнул.

— Справедливо, — признал он. — Тогда в долг.

* * *

— Дед велел, — рассказывал Брам, доедая вторую миску. — Сказал: выиграй или накорми, — он облизал ложку. — Я спросил — кого накормить? Он сказал — себя. Если не выиграешь, хоть наешься в столице. Чтоб не зря ехал.

— Мудрый дед, — одобрил Сорен.

— Восемьдесят один год, — с гордостью ответил Брам. — Бывший Кандел. Медведя голыми руками… — Он замолчал. Подумал. — Ну, не голыми. В рукавицах. Но медведя.

Рия смеялась. Лейн смотрел на Брама с открытым ртом.

— А ты сильный? — спросил мальчик.

Северянин посмотрел на него. Потом поднял руку — огромную, лопатообразную — и положил на стол. Ладонью вниз.

Кожа на руке потемнела. Загрубела. Пошла трещинами, как кора старого дуба. Через три вдоха на столе лежала не рука — корень. Бурый, шершавый, узловатый.

Лейн протянул палец. Потрогал.

— Как дерево, — восхищённо выдохнул Лейн.

— Как дерево, — согласился Брам. — Огонь не берёт. Нож не берёт. Сто двадцать вдохов держу. Потом — чешется, — он убрал руку. Кора сошла. — В прошлом году в Кедровом шестерых вынес. Лесоруб видел.

— Видел, — подтвердил я.

— Дед сказал — мало, — продолжил здоровяк. — Сказал — надо двести вдохов. Я зиму учился, — он гордо выпрямился. — Сто шестьдесят!

* * *

Палата гильдий была переполнена.

Это было видно ещё с улицы. Перед бронзовыми дверями — толпа. Не горожане — кандидаты. Сотни. Молодые, в дорожных плащах, в гильдейских куртках, в мундирах, в лохмотьях. Со всех концов Империи. Я слышал выговоры — северный, южный, западный, островной. Видел гербы — на застёжках, на нашивках, на щитах, которые некоторые зачем-то таскали с собой. Великие гильдии — сразу видно: белое с золотом, синее с серебром, у каждого слуга. Городские — попроще. Захолустные — совсем просто: деревенские парни и девки в домотканых рубахах, с гербами, вышитыми матерями.

Медведь на гербе Брама действительно был похож на козу. Брам сказал — это потому что вышивала бабка, а бабка медведя никогда не видела.

— Тысяча, — произнесла Иса, глядя на толпу. — Говорят, в этот раз — тысяча двести.

— Нам надо попасть в сто двадцать восемь, — напомнил Сорен.

— Нам надо попасть в одного, — поправила счетовод.

* * *

Внутри, в большом зале с колоннами, стояли столы. Длинные, в ряд, через весь зал. За каждым — писарь. К каждому — очередь.

Ферн сидел за третьим. Очки на цепочке. Сухой, сутулый, с пальцами, чёрными от чернил. Он увидел нас издалека. Встал из-за стола — прямо посреди записи какого-то юнца в синем, — и помахал.

— Седьмая Опора! — крикнул он через весь зал. — Сюда! Без очереди!

Юнец в синем возмутился. Ферн посмотрел на него поверх очков.

— Молодой человек, — произнёс писарь. — Двадцать пять лет назад я записывал на этот Турнир человека из-под моста. Он выиграл. С тех пор я записываю людей из-под моста без очереди. Это моя единственная привилегия за сорок лет службы. Не отнимайте её у старика.

Юнец отступил.

Ферн сел. Обмакнул перо.

— Имя?

— Тэйн.

— Гильдия?

— Седьмая Опора. Истмар.

— Ступень?

— Кандел.

Ферн поднял глаза. Посмотрел на меня поверх очков.

— Кандел, — повторил он. — Год назад, когда вы стояли на мху спиной к Иверне, — вы были Тиаром, — старик записал. — Мастер Вард будет доволен.

— Вы ему пишете?

— Каждый месяц, — ответил Ферн. — Двадцать пять лет. Он отвечает раз в год. Одним словом, — писарь чуть улыбнулся. — В этом году ответил двумя. «Едет лесоруб».

* * *

Сорена записали следом. «Сорен. Седьмая Опора. Тиар». Потом Рию. «Рия. Седьмая Опора. Тиар. Патент пятой степени». Ферн записывал, и я видел, как у него дрожат пальцы. Не от старости.

— Трое, — произнёс он, закончив. — Седьмая Опора выставила троих, — Ферн посмотрел на нас. — Впервые с тех пор, как выставила одного.

Потом Иса положила перед ним бумагу.

— Залог, — сказала счетовод. — Пять ауреонов. Поручительство за мальчика Лейна. Год прошёл. Ни одного дома.

Писарь взял бумагу. Прочёл. Посмотрел на Лейна, который стоял за Исой и смотрел в пол.

— Ни одного дома, — повторил Ферн. — Палата проверяла. Посылала человека в Истмар. Дважды, — он открыл ящик стола. Вынул кошелёк — кожаный, тяжёлый, с печатью Палаты. — Пять ауреонов. Возвращено гильдии Седьмая Опора по истечении срока поручительства, — старик протянул кошелёк. Не Исе. Лейну. — Распишись, молодой человек.

Лейн посмотрел на кошелёк. На Ису.

— Я? — растерялся мальчик.

— Ты, — кивнула Иса. — Твой год. Твой залог.

Лейн взял перо. Расписался — неровно, с кляксой. Взял кошелёк. Держал его обеими руками.

— Он тяжёлый, — удивлённо протянул Лейн.

* * *

Кассиана мы нашли у пятого стола. Он стоял в очереди Академии — в белом с золотом, но без застёжки дома Орре. Волосы — свои, чёрные, отросшие, без следов ореховой скорлупы. Подбородок — вверх. Как всегда.

Лейн подошёл к нему. Протянул кошелёк. Открытый.

— Два, — сказал мальчик. — Твои. Которые ты дал в Палате. В долг.

Кассиан смотрел на кошелёк. На Лейна.

— Это залог гильдии, — возразил он. — Не твой.

— Мой, — упрямо сказал Лейн. — Я год не поджигал. Я расписался, — и сунул кошелёк ему в руку. — Возьми два. Три — Осс. Мы к ней сегодня пойдём.

Кассиан стоял с кошельком в руке. Потом медленно вынул из него две монеты. Золотые. Посмотрел на них.

— Я отдам их отцу, — вдруг сказал он. — В ответ на письмо, — Кассиан сунул монеты в карман. — Пусть знает, что я ему ничего не должен.

Он вернул кошелёк мальчику. Посмотрел на меня.

— Колокол, — произнёс Кассиан.

— Упал.

— Знаю. Я видел из окна Академии, — он смотрел на меня, и в глазах у него было что-то, чего я не видел раньше. — Жёлтое. Над ребёнком. Что это было?

— Не знаю.

— Знаешь, — возразил Кассиан. — Просто ещё не умеешь, — он отвернулся к своему столу. — В Чаше, лесоруб. Если это будет у тебя в Чаше — я буду знать, куда резать.

* * *

Лориан нашёл нас сам. У колонны, в синем плаще Шпиля, с тремя вертикальными чертами на груди — нет, теперь их было четыре.

— Лесоруб, — окликнул он. — Колокол.

— Все говорят «колокол».

— Все видели колокол, — ответил Лориан. — Я — нет. Я был в Палате. Мне рассказали, — маг посмотрел на меня. На то, что под Покровом. — Ты закрыт весь. Даже Чутьём не вижу, сколько.

— Шестнадцать.

Лориан присвистнул.

— Шестнадцать, — повторил он. — Год назад было десять, и ты боялся одиннадцатого, — Лориан покачал головой. — Мне двадцать пять. Последний Турнир. Корвиан сказал — в этот раз дойди до конца, — он криво улыбнулся. — Не знаю, получится ли. Если в Чаше попадёмся друг другу — не жалей.

— Ты тоже.

— Я никогда не жалею, — усмехнулся маг Шпиля. — Я в прошлый раз пожалел Кассия Орре на полвдоха. И проиграл, — он пошёл к выходу. На ходу обернулся. — Кстати. Корвиан передавал. Сказал — «скажи лесорубу, что слово он понял правильно», — Лориан пожал плечами. — Я не понял, какое слово. А ты?

Я понял.

* * *

Бронза была там же, где год назад. Над главными дверями, во всю стену.

«ТУРНИР СЕМИ ХОЛМОВ. ПОБЕДИТЕЛИ».

Строчки. Имена. Гильдии. Города. Под каждым — «Прошение исполнено».

«Кассий Орре. Золотой Круг. Аэвен».

«Мерис Вэлмонт. Дом Колоколов. Аэвен».

Академия. Академия. Золотой Круг.

И одна строчка — двадцать пять лет назад:

«Роан Вард. Седьмая Опора. Истмар».

А под ней — гладко. Стёсано резцом. Ровно, аккуратно, до блеска. Так, что даже следа букв не осталось. Только полоса, светлее остальной бронзы.

Я стоял под ней. Долго.

Потом поднял руку. Дотянулся. Тронул пальцами гладкое место.

Холодное. Металл.

И под пальцами — едва-едва, на самом краю Чутья — что-то. Не эфир. Не плетение. След. Как остаётся тепло на лавке, где долго сидел человек. Будто кто-то держал здесь руку — очень давно, очень долго — и бронза запомнила.

— Двадцать пять лет назад, — произнёс Ферн у меня за спиной. Я не слышал, как он подошёл. — Он стоял вот так же. Перед тем, как уехать из Аэвена. Положил руку на эту строчку. Она была ещё целая тогда, — писарь снял очки. Протёр. — Через год пришёл резчик с бумагой из Канцелярии. Я стоял и смотрел, как он режет. Я ничего не мог сделать. Я писарь.

— Кто подписал бумагу?

Старик надел очки.

— Хранитель печатей, — ответил он. — Тогда, как и сейчас, — лорд Маэр Тессин. Он на этой должности тридцать лет. — Пауза. — Он вручает прошения победителям. Лично. На церемонии. Из рук в руки, — Ферн посмотрел на меня поверх очков. — Если выиграете, лесоруб, — посмотрите ему в лицо. Он будет стоять в шаге от вас.

* * *

Иверну я увидел у колонн, когда мы уходили.

Она стояла в стороне от столов. В сером платье, с книжкой. Смотрела на кандидатов — на всех сразу, как пастух смотрит на стадо. Двое в сером стояли за её спиной.

Реестр всегда на Турнире.

Женщина в сером увидела меня. Не удивилась. Подошла.

— Господин Тэйн, — произнесла она. — Колокол.

— Он упал.

— Я знаю, — Иверна смотрела на меня. Внимательно. Сквозь. — И я знаю, что было над ребёнком. Мне рассказали двое моих людей. Они стояли на площади. — Пауза. — Жёлтое. Как смола.

Я молчал.

— Вы растёте быстрее, чем пишут в трактатах, господин Тэйн, — продолжила она. — Это хорошо для Чаши. И плохо для всего остального, — Иверна открыла книжку. Посмотрела в неё. — Вы видели листы кандидатов?

— Нет.

— Посмотрите, — она протянула мне листок. Отдельный. Вырванный из своей книжки. Один. — Строка сорок семь.

Я взял.

Список. Почерк — линейкой. Имена, гильдии, города. Сорок седьмая строка:

«Сэлин Тайр. Тихая заводь. Острова Южного моря. Тиар».

— Гильдия «Тихая заводь», — пояснила Иверна, — зарегистрирована в Палате в этом году. Три месяца назад. Бумаги из канцелярии островного наместника. Печать — подлинная. Кандидат — один, — она посмотрела на меня. — Я была на островах Южного моря. Дважды. Там нет гильдии «Тихая заводь».

Женщина в сером закрыла книжку.

— Я вам ничего не говорила, — бросила она. И ушла.

* * *

Сэлин Тайр нашлась сама.

На ступенях Палаты. Когда мы выходили — я, Сорен, Рия, Иса, Лейн с кошельком, Брам. Солнце било в глаза после полутьмы зала. Толпа кандидатов внизу шумела.

На нижней ступени, в стороне, на солнце, сидела девушка.

Тонкая. Смуглая. В простом дорожном платье — сером, без гербов. Чёрные волосы, гладко зачёсанные назад и стянутые в узел. И перчатки. Белые. Тонкие.

Незнакомка сидела на ступени и смотрела на нас. На меня.

Когда мы проходили мимо — встала.

— Лесоруб, — произнесла она.

Голос был мягкий. Певучий. С проглоченными окончаниями.

Островной.

Я остановился.

— Колокол, — сказала Сэлин Тайр. Улыбнулась. Улыбка у неё была красивая — и пустая, как улыбка на маске. — Это было очень красиво. Жёлтое. Над девочкой, — островитянка чуть наклонила голову. — Я видела. Я стояла на площади. Я не знала, что так бывает.

— Я тоже не знал, — ответил я.

Сэлин смотрела на меня. Глаза у неё были тёмные. Спокойные. Внимательные. Как у учёного, который рассматривает редкого жука.

Как у человека у Южных ворот Истмара.

— Увидимся на холмах, — бросила она. И пошла вниз по ступеням. В толпу. Растворилась в ней — быстро, легко, будто её и не было.

Иса стояла рядом со мной.

— Горько? — тихо спросил Сорен.

Иса долго молчала.

— Нет, — наконец ответила счетовод. — Не горько. Она не врала ни слова, — Иса смотрела в толпу, туда, где исчезла Сэлин. — Она правда видела. Ей правда было красиво. — Пауза. — Мне от этого хуже, чем если бы она врала.

* * *

К Осс мы пошли после полудня. Все вместе — Лейн настоял. Он нёс кошелёк перед собой, двумя руками, как несут чашу с водой, которую нельзя расплескать.

Императорский парк был таким же, каким я его помнил. Белая стена, кованые ворота с золотыми листьями, мох под ногами — мягкий, живой, тёплый. Дубы. Тысячелетний дуб у пруда стоял, как стоял: чёрное дупло внутри, живая крона снаружи. Из дупла торчал молодой побег — тонкий, зелёный, с тремя листьями.

Осс ждала у сторожки. С трубкой. Маленькая, сухая, в кожаном переднике.

Лейн подошёл к ней. Протянул кошелёк.

— Три, — сказал мальчик. — Ваши. Которые вы дали в Палате. За весну.

Садовница посмотрела на кошелёк. На Лейна.

— Год не жёг? — спросила старуха.

— Ни одного дома.

— Хм, — Осс взяла кошелёк. Вынула три монеты. Посмотрела на них. Потом сунула обратно в кошелёк и протянула Лейну. — Оставь.

— Но…

— Оставь, — повторила садовница. — Купишь себе удочку. Хорошую. Или матери крышу, — она пожевала губами. — Садовники долгов с детей не берут. Особенно с таких, которые год держат огонь, когда их весь город боится.

Лейн стоял с кошельком в руках. Красный до ушей.

* * *

Аурел был в оранжерее.

Мы нашли его между тенелистом и папоротником — там, где, по словам Кассиана, он прятался в детстве. Младший Орре сидел на перевёрнутом ящике, в рабочем фартуке садовника, с ножницами в руке, и подрезал папоротник. Медленно, аккуратно, лист за листом.

Волосы у него отросли. Лицо — уже не белое, а просто бледное. Он поправился. Не сильно — но щёки перестали проваливаться.

Юноша увидел нас и встал.

— Тепло в раме, — сказал он мне и улыбнулся. Впервые на моей памяти — по-настоящему.

— Ты здоров?

— Здоров, — Аурел посмотрел на свои руки. — Тени — слушаются. Осс говорит — тени любят оранжерею. Здесь много листьев, — он кивнул на тенелист — чёрный, бархатный, серебристый по краю. — Он мне не мешает. Я ему тоже.

— Кассиан записался, — сообщил я.

— Знаю, — Аурел снова сел на ящик. — Он приходит каждый вечер. Рассказывает. Про Академию. Про отца. — Пауза. — Про тебя.

— Что про меня?

Аурел посмотрел на меня. Тени вокруг него — от листьев, от ящиков, от стеклянных стен оранжереи — чуть шевельнулись. Сами.

— Он боится тебя, — проговорил младший Орре. — В Чаше. — Подумал. — Нет. Не боится. Он хочет тебя победить. Так, как хотел бы победить Кассия. Как будто ты — его старший брат, которого у него не было.

Я не знал, что сказать.

— Не поддавайся ему, — тихо добавил Аурел. — Он не простит.

* * *

Вечером, в «Бочке», Иса разложила на столе расписание.

— Сито, — начала счетовод. — Через двенадцать дней. Семь холмов, семь дней. Каждый день — один холм, одно испытание. Какое — не говорят. Узнаём утром, — она провела

пальцем по листу. — Каждое испытание — баллы. После седьмого дня — сто двадцать восемь лучших.

— Из тысячи двухсот, — присвистнул Сорен.

— Из тысячи двухсот четырнадцати, — поправила Иса. — Я посчитала. Ферн дал списки.

— Потом?

— Потом Жребий. Тройки. Случайные, из разных гильдий. Общее задание. Из тройки проходит один — лучший. Или двое, если тройка справилась хорошо. Тридцать два, — Иса перевернула лист. — Потом Чаша. Поединки. До первого касания. Тридцать два — шестнадцать — восемь — четыре — два — один.

— Сорок дней, — подсчитала Рия.

— Сорок дней, — подтвердила Иса. — Двенадцать — до Сита. Семь — Сито. Шесть — Жребий. Пятнадцать — Чаша, — она закрыла книгу. — Последний — церемония. Прошение.

Я сидел у окна. Смотрел на улицу.

На гирлянды из стеклянных шаров, которые начали зажигать. Один за другим, вдоль Кедрового, вверх по холмам, — голубым светом. Белым хэлмом.

Двенадцать дней.

У меня было двенадцать дней, чтобы понять, что я сделал над девочкой на площади.

Глава 3. Крыша

Первая щитоноска у меня вышла бурой, тяжёлой и глупой.

Это было на третий день, во дворе «Смоляной бочки», под старым вязом. Одда отдала нам двор на все двенадцать дней — «только бельё не трогайте и колодец не ломайте», — и мы превратили его в учебный круг. Сорен вбил в землю колышки. Брам принёс от кузнеца два старых щита, мятых, как старые вёдра. Рия натаскала дров для костра. Лейн сидел на краю колодца с удочкой — он не мог без удочки, хотя ловить в колодце было нечего, — и смотрел.

А я плёл.

Тоби дал мне рисунок. Я носил его под рубахой с Истмара — рядом с каплей, рядом со словом. Мешковина, уголь, круглый жук с широкими полями, под полями — много маленьких человечков. Я положил его на край колодца, придавил камешком и смотрел на него. Потом — на свою ладонь.

Жук с крышей.

Над девочкой на площади были пластины. Не жуки — пластины. Без ног, без головы, без тела. Просто кривые медовые щитки, сцепившиеся краями. Они появились сами, из меня, когда я переливал Покров с себя на неё. Как в Хэлме, над Лейном, — одна, сама, когда у меня не было ни одной свободной нити.

Значит, это было не плетение. Это был Покров. Вытолкнутый наружу. Сгустившийся. Как сгущается пар на холодном стекле.

А Покров держится недолго, если его не держать.

Значит, его надо было — держать. Чем-то. Кем-то.

Жуком.

* * *

Я плёл щитоноску так же, как когда-то плёл железного: не заставляя бурого стать другим, а делая другого с первой нити.

Только не знал, какой у неё должна быть первая нить.

Первая вышла бурой. Обычный древоточец — коричневый, с короткими жвалами. Только плоский. И с краями. Надкрылья у него разошлись в стороны, как поля у шляпы, — но толстые, тяжёлые, непрозрачные. Он сел мне на ладонь и придавил её, как камень.

— Это не крыша, — хмыкнул Лейн с колодца. — Это крышка. От бочки.

Я отпустил жука.

Вторая вышла светлее. Жёлтой. Края — шире, тоньше. Почти прозрачные. Она села мне на ладонь — и края у неё треснули. Сами. От того, что она села.

— Хрупкая, — заметил Сорен.

— Вижу.

Третья. Четвёртая. Пятая. Они получались разными — бурыми, жёлтыми, серыми, одна вообще вышла почти белой, как соль, и я отпустил её так быстро, что Рия засмеялась. Края у них были то толстые, то тонкие, то короткие, то широкие. Одни не держали форму. Другие держали — и не держали удара. Сорен бросал в них камешки — с трёх шагов, легко, — и они трескались, раскалывались, распадались пылью.

Двенадцатая получилась на исходе дня.

* * *

Я помню, как это случилось. Не потому, что понял. Потому что устал.

Я сидел на краю колодца, рядом с Лейном, и смотрел на рисунок Тоби. На заштрихованные поля — тонкими штрихами, как штрихуют стекло. И думал не о щитоносках. Я думал о свёкле. О поле за Южными воротами Истмара, за третьим хутором. О том, как Тоби подцепил

жука ногтем, и тот лёг ему на ладонь на спину, и задрыгал ножками, а Тоби перевернул его — и жук сразу прижался краями к ладони. Всей каймой. И замер.

Он не прятался под крышей. Он прижимался.

Крыша была не над ним. Крыша была он сам. И она держалась не потому, что была толстой. А потому, что прижималась краями к тому, что под ней.

Я поднёс ладонь к Лейну. К его руке, лежавшей на краю колодца.

— Можно?

Лейн посмотрел на меня. Кивнул.

Я положил ладонь ему на руку. Сверху. И стал плести — не на свою ладонь. На его руку. Под своей ладонью.

Жук сплёлся быстро. Будто давно ждал. Я почувствовал его — маленького, плоского, тёплого — у себя под пальцами, на коже мальчика. И убрал ладонь.

На руке у Лейна сидела щитоноска.

* * *

Она была меньше, чем я думал. С ноготь большого пальца. Круглая. Плоская.

И прозрачная.

Не совсем. Посередине — тельце. Маленькое, медово-золотое, как капля смолы, в которой застыла букашка. А вокруг — кайма. Широкая, тонкая, прозрачная, чуть жёлтая. Как янтарь, поднятый к солнцу. Сквозь неё было видно кожу Лейна, веснушки, тонкие волоски на запястье. Края каймы прижимались к коже. Плотно. Так, что не было видно ни ножек, ни щели.

Она сидела на руке Лейна, как печать на воске.

У меня на груди, под рубахой, капля стала тёплой.

— Ой, — удивился Лейн. — Тёплая.

— Сорен, — позвал я. — Камешек.

Согильдеец бросил. С трёх шагов. Легко.

Камешек ударил в щитоноску. И отскочил. С тихим звонким щелчком, как отскакивает от оконного стекла.

Кайма не треснула.

Разведчик бросил сильнее. С пяти шагов. Отскочил.

Тогда Сорен взял камень побольше. С кулак. Посмотрел на меня.

— Можно?

— Можно.

И бросил. Сильно.

Щитоноска треснула. Тонкой линией, через край каймы. Но держала. Камень отскочил, упал в колодец. Плеснуло.

Мальчик смотрел на свою руку.

— Мне не больно, — удивлённо протянул Лейн. — Совсем. Как будто по крыше стукнули.

* * *

Одна — это щиток. С ноготь.

Я знал это и раньше. По тому, что было над девочкой на площади: пластины сцеплялись краями, как черепица. Только криво, неровно, — потому что я не знал, что делаю.

Теперь — знал.

Я сплёл вторую. На руке Лейна, рядом с первой. Она села — и края её коснулись краёв первой. И сцепились. Сами. С тихим щелчком, как сцепляются пальцы, если сложить ладони.

Третью. Четвёртую. Шестую.

На руке Лейна, от запястья до локтя, лежал щиток. Медовый, прозрачный, сплошной, — из шести каёмок, сцепившихся краями. Как наруч. Как рукав из янтаря.

Лейн поднял руку. Посмотрел сквозь неё на солнце.

— Как в янтаре, — восхищённо сказал мальчишка. — Как у тебя в капле.

— Брам, — позвал я.

* * *

Северянин подошёл. Посмотрел на руку Лейна. Потом на меня.

— Бить? — уточнил он.

— Бить.

— Мальчишку?

— Щит.

Здоровяк подумал. Потом его кулак потемнел. Загрубел. Пошёл трещинами, как кора. Корень. Бурый, узловатый.

Брам ударил. Не во всю силу — я видел, что не во всю. Но он и вполсилы бил так, что лошадь садилась.

Щит на руке Лейна — выдержал. Две каёмки треснули. Одна — по краю, другая — через середину. Но выдержал. Лейна качнуло — он сидел на краю колодца, — и Рия поймала его за ворот, чтобы не упал.

А мне в голову пришла отдача. Тупая, тяжёлая. Не от одной — от двух сразу. Будто по мне ударили дважды.

— Ох, — крякнул Брам и посмотрел на свой кулак. Кора на костяшках — треснула. — Твёрдое.

— Двое лопнули, — пояснил я. — Отдача — двойная.

— Цена, — тихо сказала Рия.

— Цена.

* * *

— Огонь, — предложила подруга.

Рия уже стояла у костра. Сняла перчатку. Подняла ладонь. Пламя легло на неё — ровное, жёлтое, без рывков, — как кот у печки.

— Лейн, — позвала она. — Руку.

Лейн протянул руку. Со щитом из шести каёмок. Две — треснутые.

Рия поднесла пламя. Не ударила — поднесла. Медленно. Пока оно не коснулось края щита.

Я ждал, что кайма вспыхнет. Смола горит. Я сто раз видел, как горит сосновая смола в костре, — жарко, чадно, с треском.

Кайма не вспыхнула.

Она — потекла. Медленно. Там, где её касалось пламя, медовое стало мягким, тягучим, как мёд на солнце. Растеклось по краю. Закрыло трещину. И застыло снова — когда Рия убрала руку.

Треснутая каёмка — срослась.

Девушка смотрела на это. Долго.

— Она не горит, — произнесла Рия. — Она плавится. И заращивает.

— Смола, — ответил я. — Не горит, если она живая. Если она ещё на дереве. Горит — сухая, — я сам не знал, откуда знаю. Знал, как знал всё про дерево. — Отец говорил: дерево закрывает рану смолой. Смола не даёт огню войти.

— Так она против огня лучше всего, — медленно проговорила кузнечиха.

— Наверное.

Рия посмотрела на свою ладонь. С пламенем.

— Тогда я тебя в Чаше не проткну, — вздохнула она. — Обидно.

* * *

— Как ты их назовёшь? — спросил Лейн вечером.

Мы сидели под вязом, у погасшего костра. Щиток на руке Лейна давно распался — я отпустил его к закату, — но Лейн всё ещё держал руку на колене, ладонью вверх, будто боялся уронить.

— Щитоноски, — ответил я.

— Как у Рииной мамы на свёкле?

— Как у Рииной мамы.

— Хорошо, — кивнул мальчик. — Тоби обрадуется.

Сорен лежал на траве, закинув руки за голову, и смотрел на небо. На гирлянды из стеклянных шаров, уже горевших голубым над Кедровым.

— Шестнадцать, — произнёс он. — Лесоруб, у тебя шестнадцать. Сколько щитоносок на всё?

Я подумал.

— Шесть — щит в рост человека. Если сплошной. Десять — купол над двумя, — я посчитал ещё раз. — Если десять уйдут на купол — останется шесть. На всё остальное.

— Мало, — подытожил Сорен.

— Мало.

— И если кто-то разобьёт две — тебя бьёт дважды.

— Дважды.

Разведчик смотрел на небо. Потом сказал:

— Тогда в Чаше закрывай не себя, — он повернул голову ко мне. — У тебя Покров. Себя закрывать — Покров. А эти — для того, кто рядом. — Пауза. — Только в Чаше рядом никого не будет. Там один на один.

Я смотрел на гирлянды.

— Значит, не в Чаше, — ответил я.

* * *

Учился не только я.

Сорен учился видеть дальше. На вдох — он говорил, что видит на вдох с тех пор, как Сейн обжёг ему руку, но видит неровно: то на вдох, то на полвдоха, то вообще ничего, если устал. Он хотел ровно. Он просил Брама бить его.

Брам бил. Корой. Медленно сначала, потом быстрее.

Сорен уходил. От первого удара, от второго, от десятого. Нырял, отскакивал, поворачивался боком — и Брамов кулак проходил в волоске от уха, от плеча, от рёбер. Двор Одды гудел от того, как Брам выдыхал на каждом ударе.

На тридцатом северянин попал.

Не сильно — по плечу, вскользь. Но Сорена развернуло и бросило на колышки, и разведчик сел, держась за плечо, и засмеялся.

— Тридцать, — выдохнул он. — Вчера было двадцать два.

— Ты устал, — заметил Брам. — Я видел. Ты на тридцатом моргнул.

— Я не моргал.

— Моргнул, — уверенно повторил здоровяк. — Медведи тоже моргают. Перед тем, как ошибиться.

Сорен посмотрел на него снизу вверх.

— Ты дрался с медведем?

— Дед дрался, — ответил Брам. — Я смотрел. Учился.

* * *

Рия училась держать долго.

Это было не то, чему её учила Уна. Уна учила бить — молотом, не злостью. Тиар дал ей другое: огонь больше не рвался из неё, он лежал. Как кот у печки. Его не надо было удерживать. Его надо было — не отпускать.

Она сидела у костра с утра до вечера. Держала пламя на ладони. Час. Два. Не давая ему ни разгореться, ни погаснуть. Ровно.

Лейн сидел напротив. Со своим огоньком. Тоже держал.

Они не разговаривали. Иногда Рия говорила: «Раз». И Лейн отвечал: «Я держу». Иногда огонёк у Лейна вздрагивал — и Рия, не глядя, протягивала ладонь, и огонёк у Лейна выравнивался, будто его погладили.

— Она его учит, — заметил Брам, глядя на них.

— Она себя учит, — возразил Сорен. — А он смотрит.

— Это одно и то же, — пожал плечами северянин.

Сорен подумал и согласился.

* * *

Кассиан пришёл на пятый день.

Я не звал его. Никто не звал. Он просто появился в воротах двора — в белом с золотом, с книгой под мышкой, будто шёл из Академии в библиотеку и свернул не туда. Остановился. Посмотрел на колышки, на мятые щиты, на Брама, который ел у колодца, на Рию у костра.

На меня.

На руке у меня, от запястья до плеча, лежал щит. Восемь щитоносок, сцепившихся краями. Медовый, прозрачный. Я держал его уже двести вдохов — учился держать долго.

Гость смотрел на щит.

— Это было над ребёнком, — произнёс Кассиан.

— Это.

— Можно?

Я понял, о чём он. Все поняли. Брам перестал жевать. Рия убрала пламя с ладони. Сорен, сидевший на крыше конюшни, свесил ноги.

— Можно, — разрешил я.

Кассиан положил книгу на край колодца. Поднял правую руку. Пальцы сложились — особым образом, как я видел в Академии. Над ладонью вспыхнуло. Белое, длинное, гудящее. Луч в два локтя.

Кассиан ударил. Не сильно — я видел, что не сильно. Пробно. Наискось, по щиту, от локтя к запястью.

Луч вошёл в кайму — как нож в масло. Первая щитоноска распалась. Вторая. На третьей луч замедлился. Застрял. Кайма вокруг него потекла, оплыла, как оплывает воск у свечи, — и сжала свет. На полвдоха.

Противник отдёрнул руку.

Удар отдачи пришёл двойной. Две щитоноски — две отдачи. В висок, в зубы. Я качнулся.

Кассиан смотрел на мою руку. На щит — теперь из шести, с дырой там, где были две.

— Две, — сказал он. — За вдох. Третью — не прошёл. Она меня держала, — Кассиан посмотрел на свою ладонь. — Это не щит Академии. Щит Академииломается целиком или держит целиком. А это… — Он подумал. — Это как кольчуга. Рвётся по кольцу.

— И каждое кольцо — отдача, — добавил я.

— Знаю. Я видел, как тебя качнуло, — Кассиан взял книгу с колодца. — В Чаше я буду резать по два за вдох, лесоруб. Если ты закроешься шестнадцатью — у тебя будет восемь вдохов. И восемь отдач. Двойных.

— Знаю.

— Хорошо, — он пошёл к воротам. У ворот обернулся. — Но третья меня держала. Я этого не ждал.

И ушёл.

Брам дожевал. Посмотрел ему вслед.

— Злой, — одобрительно сказал северянин. — Хороший.

* * *

Лориан пришёл на седьмой. Не один — с двумя учениками Шпиля, рыжим с двумя чертами и девчонкой с одной. «Посмотреть на лесоруба, который больше не ест перила».

Маг Шпиля ударил сквозняком. Тонким воздушным лезвием — тем, которым когда-то разрезал Рие рукав на ступенях Палаты. По щиту.

Лезвие соскользнуло.

Не вошло. Не разрезало. Скользнуло по медовой каёмке, как скользит ветер по льду, — и ушло в сторону. В вяз. Срезало с вяза ветку.

Одда вышла на крыльцо. Посмотрела на ветку. На Лориана.

— Шпиль, — сказала трактирщица. — Синим — вдвое.

Маг посмотрел на ветку. Потом на щит.

— Гладкий, — сказал он. — Ветер не цепляется, — Лориан почесал затылок. — Лесоруб. Это нечестно.

— Это смола, — ответил я.

— Это нечестно, — повторил Лориан и засмеялся. — Ладно. В Чаше буду бить в щели. У тебя они есть. Я видел. Там, где края сцепляются.

Он был прав. Я тоже видел.

* * *

Иса нашла меня вечером восьмого дня у колодца. Села рядом. Положила на колени книгу.

— Тессин, — произнесла она.

Я ждал.

— Я ходила к Ферну. В архив, — Иса говорила тихо, глядя в книгу, будто читала. — Лорд Маэр Тессин. Хранитель печатей. Семьдесят два года. Тридцать лет на должности. До того — двадцать лет в Канцелярии. Писарем, секретарём, старшим секретарём. — Пауза. — Он не маг. Без Искры. Совсем.

— Без Искры?

— Камень на нём не загорелся, — ответила счетовод. — В двенадцать лет. Сын мелкого дворянина с юга. С побережья, — она перевернула страницу. — Из-под Тирры.

Я молчал.

— Северная гавань Тирры, — продолжила Иса. — Склады Орре. Корабли Орре, — она закрыла книгу. — Тессин тридцать лет подписывает грамоты на торговые патенты. В том числе — дому Орре. На корабли. На морские пути, — счетовод посмотрела на меня. — Куда ходят корабли из северной гавани Тирры, лесоруб?

— Не знаю.

— Я тоже не знаю, — призналась Иса. — Ферн тоже. В книгах Палаты — «на юг, за море, с солью». Куда за море — не написано.

Счетовод встала.

— Выиграй, — сказала она. — Тогда он будет стоять в шаге от тебя. И я буду стоять рядом. — Пауза. — И я хочу знать, какой он на вкус.

* * *

Брам ушёл к полуночи. Сытый — Одда, ворча, всё-таки дала ему третью миску в долг. Рия ушла спать на сеновал над конюшней — там, говорила она, тепло и никто не дымится. Сорен и Лейн — наверх, в комнату под крышей, которую Одда держала для «земляков».

Я остался во дворе.

Сидел на краю колодца. Плёл щитоносок по одной — на свою ладонь — и отпускал. Плёл и отпускал. Медленно. Чтобы рука запомнила.

Каждая выходила лучше прежней. Каёмка — ровнее. Тельце — меньше. Край — плотнее. К двадцатой я плёл их, не думая, — как плёл бурых в Тарвене, когда мне было двенадцать.

Двадцать первая вышла на ладони, прижалась краями — и я вдруг понял, что она тёплая. Не так, как тёплые бурые — от моего эфира. По-другому. Как тёплая капля янтаря у меня под рубахой. Будто внутри у неё было что-то, что грело само.

Я поднёс её к лицу. Посмотрел сквозь кайму на гирлянды.

Голубой свет белого хэлма, пройдя сквозь медовую каёмку, стал золотым. Тёплым. Как свет в окне дома, куда возвращаешься.

Я отпустил её. Она растаяла с запахом смолы.

* * *

Сорен спустился во двор, когда я уже собирался уходить.

Босой, в рубахе, с ножом в руке. Тихо, как кот.

— Лесоруб, — прошептал разведчик. — Иди сюда. Посмотри.

Согильдеец повёл меня к крыльцу. К двери «Смоляной бочки». Тяжёлой, дубовой, с новой вывеской-бочкой над ней.

На пороге, на каменной ступени, лежала бумага. Сложенная вчетверо. Белая. Плотная.

— Я спустился за водой, — сказал Сорен. — Бумаги не было. Я слышал, как ты сидишь у колодца. Никто не проходил. Я бы услышал, — он посмотрел на меня. — А когда пошёл наверх — она лежала.

Я поднял бумагу. Развернул.

Ни одного слова. Только знак. Нарисованный чем-то тонким, серебристым — не чернилами. Круг. Разомкнутый. Как месяц. Как лезвие, загнутое в кольцо.

На моих глазах линия на бумаге — стала тоньше. Бледнее. Как тает иней на окне, если на него подышать.

Через три вдоха на бумаге ничего не было. Белый лист.

Сорен смотрел на лист.

— Что это было? — тихо спросил он.

Я сложил лист. Сунул под рубаху. К капле, к слову, к рисунку Тоби.

Капля была горячей.

— Посмотри на крышу, — ответил я.

Разведчик посмотрел. Вверх. На галерею над двором — старую, деревянную, ту, что Брам покрывал прошлой осенью.

На свежем тёсе, на самом краю, у водостока, в свете гирлянд, — следы. Мокрые. Узкие. Будто кто-то прошёл по крыше босиком, по росе. Лёгкими шагами.

Как кот.

Следы обрывались у края. Там, где галерея кончалась и начиналась пустота над переулком в три человеческих роста.

Дальше — ничего.

Глава 4. Купол

В канун открытия Турнира Аэвен праздновал так, будто Турнир уже кончился и все победили.

С полудня на улицах играли музыканты. Флейты, барабаны, волынки с северными бурдонами, от которых у Брама на глазах выступали слёзы. На каждом углу торговали жареными каштанами, пирожками с рыбой, сладкими лепёшками с мёдом. Глашатаи кричали имена кандидатов — уже не всех, только фаворитов, — и толпа хлопала, свистела, кидала в воздух шапки. Гирлянды из стеклянных шаров горели с самого утра, хотя солнце светило вовсю.

А вечером, сказала Одда, будет праздничный огонь.

— Академия запускает, — рассказывала она, раздавая похлёбку в переполненной «Бочке». — С площади в Кедровом. Каждый Турнир. Огневики. Шары, колёса, звёзды. Весь город смотрит, — трактирщица поставила миску перед Лейном. — Ты огневик. Тебе понравится.

Мальчик посмотрел на неё. На миску.

— Огонь — для красоты? — спросил Лейн.

— Для красоты, — подтвердила Одда.

Лейн долго смотрел в миску. Потом сказал — тихо, не мне, не Одде, а самому себе:

— Я не видел, чтобы огонь был для красоты.

* * *

После полудня по Кедровому прошли кандидаты.

Не все — великие гильдии. Это был обычай, сказала Одда: в канун Турнира великие гильдии проходят по семи холмам, чтобы город посмотрел на тех, на кого ставит. Сорок гильдий. Двести кандидатов. Пешком, в парадном, под флагами.

Мы стояли на галерее над «Бочкой» и смотрели.

Впереди — Академия. В белом, с голубыми полосами, пятеро. Кассиан — третий. Подбородок вверх. Он не посмотрел на галерею, но я видел, как у него дрогнули плечи, когда он проходил под нами.

За Академией — «Золотой Круг». Белое с золотом, медали на груди. Впереди — высокий, плотный, светловолосый парень с лицом, которое я где-то видел. Подбородок — как у Кассиана. Глаза — как у лорда Орре на балу.

— Корнелий Орре, — шепнул Сорен. — Кузен. Один к трём.

Корнелий шёл и улыбался толпе. Махал рукой. Толпа хлопала.

Потом Садовники — в зелёном, пятеро, впереди высокая девушка с косой до пояса и рукой, обвитой живым плющом. Талла. Потом Шпиль — Лориан махнул нам с улицы, задрав голову. Потом Дом Колоколов — Эдрик с тростью, без колокола на знамени, только с лентой. Толпа ему хлопала громче всех.

Потом — сорок других. Гербы, гербы, гербы.

Захолустные гильдии не ходили. Им не полагалось. Но одна захолустная — стояла.

На углу, у колодца, в толпе. Серое дорожное платье. Белые перчатки. Чёрные волосы в узле.

Сэлин Тайр смотрела на шествие. Не на кандидатов — на толпу. На лица. Медленно, внимательно, как смотрит человек, который считает.

Я закрыл глаза. Посмотрел Чутьём.

Ничего. Не пусто, как у Ольса. Не равнина, как у Сейна. Ничего. Будто там, у колодца, стоял не человек, а тень от человека. Приглушение — такое, какого я никогда не видел. Даже у Корвиана. Даже у Иверны.

Только по самому краю — тонко, на волос, — что-то блеснуло. Серебром. И погасло.

Я открыл глаза.

Островитянка смотрела на галерею. На меня. Она подняла руку в белой перчатке. Помахала. Как машут знакомому.

Лейн, стоявший рядом со мной, помахал в ответ.

— Ты её знаешь? — спросил я.

— Нет, — ответил мальчик. — Она красивая. Она мне утром каштан дала. У колодца. Сказала — для огневика.

* * *

Площадь в Кедровом была та самая.

Я узнал её, когда мы вышли из переулка. Три галереи над перекрёстком — новые, светлые, из свежей лиственницы, на месте тех, что сгорели. Колодец посередине. Старый вяз у стены — обгоревший с одного бока, но живой. И дома вокруг — половина новых, половина старых, с чёрными подпалинами на нижних венцах, которые не стали закрашивать.

«Помнить», — сказала Одда, когда я спросил.

Площадь была полна. Люди стояли плечом к плечу — на мостовой, на крыльцах, на галереях над головой, на крышах. Дети — на плечах у отцов. Старики — на лавках, которые вынесли из домов. Пахло каштанами, мёдом, дымом.

Посередине, у колодца, — деревянная башня. Высокая, в три человеческих роста. Сосновые брусья, скреплённые скобами, лестница сбоку, наверху — помост. На помосте — стойки, жерди, деревянные рамы, а на рамах — шары. Стеклянные, тёмные, размером с голову. Десятки.

У подножия башни стояли огневики Академии. Шестеро, в белом, с рыжими полосами на рукавах. Один — высокий, сухой, с рыжей бородой с проседью. Магистр Хорвен. Я видел его в Палате год назад, когда он говорил про чёрный круг у стены парка.

Он увидел меня. Узнал. Кивнул — коротко, тяжело, как кивают человеку, которому должны.

* * *

Я смотрел на башню. И у меня чесались руки.

Не так, как с лесами на колокольне. Башня была построена хорошо. Брусья — толстые, скобы — новые, узлы — правильные. Её строил человек, который знал, как держит дерево.

Но она стояла посреди площади. Под тремя галереями. Деревянными. Над толпой.

А на ней — огонь.

— Тэйн, — окликнула Рия. — Перестань.

— Что?

— Ты смотришь на башню, как на врага, — подруга толкнула меня локтем. — Это праздник. Огневики Академии делают это каждые пять лет. Двести лет. Ни разу ничего не случилось. — Пауза. — Одда сказала.

— Год назад здесь горело.

— Год назад здесь горело не от праздника, — тихо возразила Рия. — Посмотри на Лейна.

Я посмотрел.

Лейн стоял впереди, у самой верёвки, которой огневики отгородили башню от толпы. Рядом с ним — Брам, огромный, загораживающий полплощади. Лейн смотрел на башню. На шары. Глаза у него были такие, каких я не видел никогда. Как у Тоби, когда корова лизнула его в лицо.

— Ладно, — сдался я.

* * *

Огонь начался, когда стемнело.

Хорвен поднял руку. Огневик на помосте — молодой, в белом, — коснулся первого шара. Шар засветился изнутри. Рыжим. Потом — вспыхнул. Сорвался с рамы, взлетел вверх, над площадью, над галереями, над крышами, — и в высоте раскрылся.

Цветком. Огненным. Рыжим, жёлтым, алым. Лепестки разошлись во все стороны, медленно, как раскрывается мак, — и стали падать. Искрами. Сотнями искр. Гаснущими на лету.

Площадь ахнула.

Второй шар. Колесо — огненное, крутящееся, со спицами из искр. Третий. Звезда, распадающаяся на десять звёзд поменьше. Четвёртый. Пятый.

Лейн стоял у верёвки и смотрел вверх. Рот открыт. Огни отражались у него в глазах — рыжим, жёлтым, алым.

Я смотрел на него. И думал: это хорошо. Это правильно. Пусть он увидит, что огонь бывает таким.

На помосте огневик коснулся шестого шара.

И остановился.

* * *

Я не сразу понял, что не так.

Огневик стоял у рамы. Рука — на шаре. Шар засветился изнутри. Рыжим. Как все.

А огневик — не отнял руки.

Маг стоял неподвижно. С рукой на шаре. Голова его медленно опустилась на грудь. Колени подогнулись. Он сел — медленно, мягко, как садится человек, который очень устал. Привалился к стойке. Уснул.

Шар под его рукой светился. Ярче. Ярче. Рыжее стало жёлтым. Жёлтое — белым.

Шар не взлетел. Шар — лопнул.

Прямо на раме. На помосте. Огонь, который должен был раскрыться цветком в небе, — раскрылся на башне. Вспышкой. Рыжей, жаркой, оглушительной. Рама вспыхнула. Соседние шары — затрещали.

И начали взлетать.

Сами. Не вверх — вбок. Один, второй, третий. Криво, низко, кувыркаясь. Один ушёл в небо и раскрылся там, как положено. Второй — врезался в галерею над площадью. Третий — в крышу дома напротив.

Четвёртый — в толпу.

* * *

Я позвал щитоносок.

Не думал. Руки думали. Шестнадцать нитей — десять ушли разом. Щитоноски вылетели у меня из ладоней — маленькие, медовые, плоские, — и полетели. Не на меня. К верёвке. К Лейну. К детям у верёвки, которые стояли, задрав головы, и не понимали.

Шар летел. Низко. Над головами. Рыжий, кувыркающийся, разбрасывающий искры. Он должен был раскрыться — и он раскрывался. Прямо над толпой.

Щитоноски долетели.

Они легли на воздух. Над детьми у верёвки. Не на кожу, не на руку — на воздух, как ложится на воду лист. И сцепились краями. Одна. Вторая. Пятая. Десятая.

Купол.

Кривой. Неровный. Как крыша, которую клал пьяный кровельщик. Медовый, прозрачный, над головами двадцати детей — и Лейна, и Брама, который стоял среди них, как дуб среди кустов.

Шар раскрылся.

Огненный цветок — над куполом. Лепестки упали. На кайму. Рыжие, жгучие, шипящие.

И потекли.

Не сквозь — по. Кайма плавилась там, где её касался огонь, — и стекала, медовая, тягучая, — и застывала снова, у края. Огонь скатывался с купола, как дождь скатывается с черепицы. На мостовую. Вокруг. Не внутрь.

Дети под куполом смотрели вверх. На огонь, стекающий по жёлтому, как по стеклу.

Одна девочка засмеялась.

* * *

Отдача пришла через вдох. Не от одной — от трёх сразу. Три каёмки лопнули, когда цветок раскрылся прямо над ними. Три удара. В висок, в зубы, в затылок. Я покачнулся. Кто-то подхватил меня под локоть.

Рия.

— Держи, — бросила она. — Я — остальное.

Кузнечиха сняла перчатку.

Башня горела. Не вся — помост, рамы, шары. Шары лопались и взлетали, как испуганные птицы, — во все стороны. Один — к галерее. Второй — в окно. Третий — в толпу на дальнем краю площади.

Рия подняла ладонь.

И третий шар — на полпути, в воздухе, над головами — остановился.

Не упал. Остановился. Повис. Рыжий, кувыркающийся, — и вдруг перестал кувыркаться. Огонь в нём потянулся. Не вперёд, не вниз. К Рие. Как собака к хозяину.

Шар погас. А на ладони у Рии — вспыхнуло. Ровно, жёлто, с кулак.

Рия сжала ладонь. Огонь ушёл внутрь — в линии под кожей. Они вспыхнули белым и погасли.

Четвёртый шар. Пятый. Рия ловила их. Не руками — огнём. Тянула огонь из каждого, как тянут нитку из клубка, — и шар гас, а огонь уходил к ней. В ладонь. В линии.

Я держал купол. Семь щитоносок — три лопнули. Держал.

* * *

Кассиан был на галерее.

Я не видел, как старший Орре туда попал. Он стоял на краю, в белом с золотом, — и галерея под ним горела. Шар врезался в неё и раскрылся, и огонь побежал по свежему лиственничному тёсу, как бежал год назад.

Кассиан поднял руку. Луч — белый, длинный, гудящий.

Кассиан ударил. Не по огню — по галерее. По тёсу. По брусьям. Резал.

Ровно, быстро, как режет мясник. Брус. Ещё брус. Перерезал горящую часть галереи — от целой. Как мы с Исой резали галереи год назад, в ночь Кануна. Горящий кусок — шагов в пять — накренился, сорвался и рухнул на мостовую. На пустое место. Там, где Сорен уже вытащил людей.

Я видел Сорена. Он был везде. Как на площади у колокольни. Хватал, тащил, толкал.

Кассиан стоял на краю отрезанной галереи. Смотрел вниз. На горящие обломки. Потом — через площадь — на меня. На купол. Кивнул.

* * *

Хорвен потушил башню за двадцать вдохов.

Он вскарабкался по лестнице на помост — грузный, старый, задыхающийся. Встал посреди огня. Поднял руки. И огонь — весь, рыжий, жёлтый, белый, — пошёл к нему. Не так, как к Рие, — не как собака. Как гончие к охотнику. Сворой. Ровно. Огонь стёк с рам, с брусьев, с лопнувших шаров — и собрался у него над ладонями в шар. Большой, плотный, гудящий.

Магистр поднял его над головой. И отпустил.

Шар ушёл вверх. Высоко, над крышами. И там — раскрылся. Огромным, белым, медленным цветком. Лепестки падали и гасли, не долетая до крыш.

Площадь молчала.

Потом кто-то захлопал. Один. Потом второй. Потом — все.

Они думали, что так и было задумано.

* * *

Я отпустил купол.

Щитоноски распались. С запахом смолы. Дети под ними — двадцать, Лейн, Брам — стояли, задрав головы. Смотрели на падающие лепестки Хорвена.

Лейн повернулся ко мне.

Лицо у него было мокрым. Не от слёз — от пота. Он держал огонёк. Весь вечер. Сжатым в кулаке. Чтобы не вырвался, когда шары начали лопаться.

— Я держал, — выдохнул мальчик. — Я видел, как оно лопнуло. И держал.

— Знаю.

— Мне было страшно, — Лейн разжал кулак. Огонёк на ладони — с горошину. Ровный. — Но оно было красивое. До того, как лопнуло, — он смотрел на огонёк. — Я хочу так. Чтобы красиво. Чтобы никто не боялся.

Брам положил ему руку на плечо.

— Научишься, — пообещал северянин. — Дед говорит — кто держит, тот и научится, — он подумал. — Дед много чего говорит.

* * *

Сорен вернулся через сто вдохов. Сверху. С крыши.

Разведчик спрыгнул с галереи — той, что не сгорела, — на мостовую, рядом со мной. Тяжело дыша. Ожог на левой руке — белая полоса от запястья до локтя — был красным, будто его натёрли.

— Чешется, — сказал он. — Рука. Перед тем, как ударят, — Сорен посмотрел на меня. — Она чесалась весь вечер. С того мига, как огневик уснул.

— Ты кого-то видел.

— Видел, — он вытер лицо. — На крыше. Напротив башни. Кто-то стоял. Когда огневик сел — он уже стоял там. Я полез, — разведчик сплюнул. — Не догнал. Он шёл по крышам, как кот. По тёсу, по черепице, по краю водостока. Ни разу не оступился. Я — оступался. — Пауза. — Он был лёгкий. Тонкий. Я видел только спину. И руки.

— Руки?

— Белые, — ответил Сорен. — Перчатки.

Согильдеец разжал кулак.

На ладони у него лежало что-то. Маленькое, мягкое. Мотылёк. Мёртвый. Серый — нет, не серый. Серебристый. С пыльцой на крыльях, которая блестела в свете гирлянд, как иней.

На наших глазах крылья мотылька стали тоньше. Прозрачнее. Пыльца — осыпалась. Серебряной пылью. Тонкой, как мука.

Сорен смотрел на пыльцу.

— Он уронил его, — пробормотал разведчик. — На крыше. Когда я почти догнал, — он поднёс ладонь к лицу. Понюхал. Пыльца поднялась облачком. Сорен моргнул. Медленно. Ещё раз. — Спать… хочется…

Я стряхнул пыльцу с его ладони. Рия плеснула ему в лицо водой из ведра.

Сорен закашлялся. Помотал головой.

— Ох, — выдохнул он. — Это что было?

— Сонная пыль, — ответил я. — Как у вдовы. Только с крыльев.

* * *

Хорвен спустился с башни. Подошёл к нам. Медленно, тяжело, с обожжённой бородой.

Магистр посмотрел на меня. На Рию. На Сорена с мокрым лицом.

— Мой человек уснул, — глухо, хрипло проговорил Хорвен. — На помосте. С рукой на шаре. Тридцать лет он запускает огонь на Турнире. Он ни разу не уснул. Ни разу, — старик посмотрел на Рию. — Ты ловила шары. Тиар?

— Тиар, — ответила девушка.

— С прошлой весны?

— С осени.

Магистр смотрел на неё. Долго. На её ладонь. На линии.

— «Печать горна», — произнёс он. — Я читал о таком. Двести лет назад. — Пауза. — Если не выиграешь Турнир, девочка, — приходи ко мне. В Академию. Без испытания.

— Я в гильдии, — возразила Рия.

— Знаю, — кивнул Хорвен. — Приходи из гильдии. Учить. Не учиться.

Рия открыла рот. Закрыла.

Старик повернулся ко мне.

— Купол, — сказал он. — Над детьми. Жёлтый. Огонь стекал, — Хорвен покачал головой. — Год назад ты взял огонь мальчика в жуков и отдал земле. Сейчас — огонь стекает с твоих жуков, как вода с крыши. — Пауза. — Я тридцать лет учу огневиков, лесоруб. Я больше ничего не понимаю.

* * *

Иверна была на площади.

Я увидел её, когда толпа начала расходиться. Она стояла у стены, под старым вязом, — в сером, с книжкой, — и смотрела не на меня. На крышу напротив башни. Туда, где Сорен видел тонкую фигуру.

Потом — на меня. Подошла.

— Турнир, господин Тэйн, — произнесла она, — ещё не открыт. Его откроют завтра. На рассвете. Колоколом Вэлмонтов.

— Колокол разбит.

— Знаю, — ответила Иверна. — Его заменят звоном с Шпиля Академии, — она посмотрела на крышу. — Кто-то очень хочет посмотреть, на что вы способны, господин Тэйн. До того, как это увидят все.

— Кто?

Женщина в сером не ответила. Открыла книжку. Что-то записала. Закрыла.

— Северный холм, — сказала она. — Завтра. Первое испытание Сита — в Сером дворе. — Пауза. — Моём.

И ушла.

* * *

Когда мы возвращались в «Бочку», нас остановила женщина.

Худая, в чистой юбке, с девочкой лет шести на руках. Я не узнал её сначала. Потом — узнал. По лицу. По тому, как она держала подбородок.

Та, что кричала «Это он поджигает!» и плеснула водой на Лейна у «Смоляной бочки». Та, что бросила в меня камень год назад, на пепелище своего дома, и плюнула мне под ноги.

Она стояла посреди улицы. Смотрела на меня. На Лейна у меня за спиной.

— Мой сын, — хрипло, неуверенно сказала она. — Был под жёлтым. У верёвки. Я его потеряла в толпе. Искала. А когда шар полетел — увидела. Он стоял под жёлтым. И смеялся.

Я молчал.

Женщина посмотрела на Лейна.

— Ты держал свой огонь, — сказала она. — Весь вечер. Я видела. Ты стоял рядом с моим сыном и держал кулак сжатым.

Мальчик смотрел на неё. Не отступал.

— Я держал, — ответил Лейн.

Женщина стояла долго. Девочка у неё на руках смотрела на Лейна с любопытством.

— Дом мне отстроили, — наконец произнесла женщина. — Соседи. Брам ваш помогал, и плотник Тамм, и сын его, который вернулся с юга. — Пауза. — Я тогда кричала, что это ты привёл огневика, — она смотрела на меня. — Я не знала тогда, что огневики бывают… такие.

Горожанка шагнула к Лейну. Поставила девочку на землю. И протянула мальчику руку.

Лейн смотрел на руку. Потом — медленно — протянул свою. Ту, в которой весь вечер держал огонёк.

Женщина пожала её.

— Спасибо, — тихо сказала она. И ушла, взяв девочку на руки, не оглядываясь.

Лейн стоял посреди улицы. Смотрел на свою руку.

— Она меня не боится, — растерянно сказал он.

— Не боится, — улыбнулась Рия.

Мальчик сжал кулак. Разжал. Огонёк на ладони — с орех. Ровный.

— Год, — сказал Лейн. — Год без одного дома, — он посмотрел на меня. — Это было важнее пяти ауреонов.

* * *

Ночью я не спал. Сидел на краю колодца во дворе «Бочки». Плёл щитоносок. Одну за другой. Отпускал.

Десять — купол. Три лопнули — тройная отдача. Голова ещё гудела.

Купол над детьми. Огонь стекал. Кассиан резал галерею. Рия ловила шары. Хорвен потушил башню.

А огневик уснул.

С рукой на шаре. Тридцать лет ни разу не спал — и уснул. Именно тогда. Именно на шестом шаре. Когда на площади было двадцать детей у верёвки, и Лейн среди них, и галереи над головами.

Кто-то хотел посмотреть, что я сделаю.

И я — показал.

Я сидел у колодца и смотрел на свою ладонь. На медовую щитоноску, прижавшуюся краями к коже.

Под рубахой капля янтаря была тёплой. Не горячей. Тёплой. Как будто ей нравилось.

Где-то на Шпиле Академии, на самом верху, ударил колокол. Один раз. Пробный. Звонари проверяли, как он будет звучать на рассвете.

Турнир Семи Холмов начинался через шесть колоколов.

Глава 5. Северный холм

Колокол на Шпиле Академии ударил на рассвете, и тысяча двести человек одновременно перестали спать.

Я слышал, как это было. Через стену «Бочки» — в соседних домах, на галереях, на улицах. Скрипели двери. Хлопали ставни. Кто-то ругался, кто-то смеялся, кто-то молился вслух — неумело, сбиваясь. В комнате под крышей Сорен сел на тюфяке и сказал: «Пепел и соль». Брам, ночевавший у Одды на сеновале, заревел снизу что-то про завтрак.

Рия уже стояла у окна. В отцовском фартуке. Смотрела на север.

На Северный холм. На Серый двор. На двести белых ступеней, по которым год назад я поднимался к Иверне на террасу.

— Первый холм, — произнесла подруга. — Его.

— Её, — поправил я. — Иверна сказала — «моём».

* * *

Двести ступеней были заполнены кандидатами от подножия до ворот.

Тысяча двести человек. Плечом к плечу. Великие гильдии — впереди, у ворот, в белом, синем, зелёном. Городские — посередине. Захолустные — внизу, на последних ступенях и на мостовой под лестницей, в домотканых рубахах и дорожных плащах. Брам стоял среди них, как башня среди хижин.

Мы встали с ним. Седьмая Опора — городская гильдия, Иса так и записала. Но Брам замахал руками с нижних ступеней, и мы спустились к нему. Иса не возражала.

— Город — это где ты стоишь, — рассудила счетовод. — Не где записан.

Железные ворота с гербом — книга и глаз — были открыты. Над ними, на стене, стояли люди в сером. Много. Двадцать, тридцать. А посередине — Иверна. В сером платье, с книжкой.

Женщина в сером подняла руку. Площадь затихла.

— Первое испытание Сита, — негромко произнесла Иверна. Но голос у неё был такой, что его слышали на последней ступени. — Северный холм. Поиск.

И опустила руку.

— Вчера, при регистрации, каждый из вас отдал каплю эфира. В кристалл. Как положено по закону. — Пауза. — Этой ночью эти кристаллы спрятаны. В Сером дворе. Среди двух тысяч других. Пустых. Обезличенных. Таких же на вид.

По толпе прошёл шорох.

— Найдите свой, — продолжила она. — До заката. Кто найдёт — получает баллы. Чем раньше — тем больше. Кто найдёт чужой и отнесёт его хозяину — получает баллы тоже, — Иверна чуть наклонила голову. — Кто найдёт чужой и спрячет его глубже — получает баллы тоже. Но меньше. И Реестр это запишет.

Шорох стал громче.

— Ворота открыты, — объявила женщина в сером. — Начинайте.

* * *

Серый двор я знал. Не весь — архив, двор перед ним, Железный зал, Крыло Вёсен, железную камеру. Год назад я был здесь пленником, вором и подсудимым. Сейчас — кандидатом.

Тысяча двести человек ворвались в ворота разом. Как вода в пролом плотины. Великие гильдии — первыми, бегом, к архиву, к Железному залу, к низким зданиям вдоль стен. Захолустные — за ними, толкаясь, спотыкаясь, растерянно озираясь.

Я не побежал.

Я встал у ворот, у стены, и закрыл глаза.

Две тысячи кристаллов. С ноготь каждый, наверное, — такие, как в мешочке Корра. Обезличенные. Пустые. И среди них — тысяча двести с каплей эфира. Чужого. Живого.

Мой — где-то.

Бурые. Серый двор был из камня — стены, мостовые, Железный зал обшит железом. Но архив — бывший монастырь — был из камня и дуба. Полки — дубовые. Двери — дубовые. Балки — дубовые. И Крыло Вёсен — черепица на дубовых стропилах.

Я позвал пятерых. Отправил в архив. В балки, в полки, в двери.

И услышал. Шаги — сотни. Голоса. Скрип выдвигаемых ящиков. Звон стекла — кто-то разбил банку с кристаллами. Ругань.

Ничего полезного.

Бурые слышали дерево. Кристаллы — не дерево.

* * *

— Ты чего стоишь? — Сорен вынырнул из толпы рядом со мной. — Все бегут.

— Все бегут, — согласился я. — И будут бежать до вечера. Две тысячи кристаллов. По всему двору, — я открыл глаза. — Если искать глазами — найдёшь к закату. Если повезёт.

— А если не глазами?

— Думаю.

Разведчик посмотрел на толпу. На серых на стенах. На Иверну.

— Они знают, где, — вдруг сказал он.

— Кто?

— Серые, — Сорен смотрел на стену. На людей Иверны. — Они прятали. Ночью. Они знают, где какой, — он сощурился. — Смотри, как они смотрят.

Я посмотрел.

Серые стояли на стене. Неподвижно. Смотрели вниз, на толпу кандидатов, мечущихся по двору. Ровно, безразлично. Но — я видел это теперь, когда Сорен показал, — не на всё сразу. Каждый из них смотрел туда, куда бежал кто-то из кандидатов. И когда кандидат подбегал к месту, где был спрятан кристалл, — серый на стене чуть-чуть, на волос, поворачивал голову. Не к кандидату. К месту.

Как хозяин, который смотрит, не нашёл ли вор то, что он спрятал.

— Сорен, — восхитился я. — Ты гений.

— Знаю, — скромно ответил согильдеец. — Иди ищи свой. Я буду смотреть на них.

И ушёл. В толпу. Растворился.

* * *

Ищейка.

Я думал об этом всю ночь, когда сидел у колодца и плёл щитоносок. Иверна сказала вчера, в Палате, когда я отдавал каплю: «Это для Сита». Я отдал. Каплю своего эфира — в маленький кристалл, который держал серый писарь. Кристалл засветился жёлто-бурым, тёплым — моим. Писарь бросил его в ящик.

Мой эфир — в кристалле. Где-то здесь.

Светляк-ищейка пьёт чужой эфир — и ведёт к тому, кому этот эфир принадлежит.

А если — свой?

Я сплёл ищейку. Золотисто-зелёную, с длинными усиками, с брюшком-шкатулкой. Положил на ладонь. И дал ей каплю. Себя.

Не много. Совсем чуть. Как дают понюхать собаке платок.

Брюшко ищейки налилось. Жёлто-бурым. Тёплым. Моим.

И ищейка — повернулась. Ко мне. Усики потянулись к моему лицу.

Конечно. Она вела к хозяину эфира. Хозяин — я. Она привела ко мне.

Я засмеялся. Вслух. Какой-то кандидат из захолустных, пробегавший мимо, посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

А потом я перестал смеяться.

Потому что усики ищейки — тянулись не только ко мне.

* * *

Две нити. Тонкие, на самом краю. Одна — ко мне. Сильная, ясная, как стрелка, что всегда смотрит на север. Вторая — слабая. Едва ощутимая. В сторону. К архиву. Нет — дальше. За архив.

Мой эфир был в двух местах. Во мне — и в кристалле.

Ищейка чувствовала оба.

Я пошёл. Не туда, куда тянула сильная нить, — она тянула ко мне, и я шёл вместе с ней, и она всё время показывала мне в лицо. Туда, куда тянула слабая. Вбок. За архив.

Я шёл — и слабая нить становилась сильнее.

Тысяча двести человек носились по двору. Кто-то лез на крышу архива. Кто-то выламывал половицы в переписной. Кто-то сидел на мостовой и плакал — девчонка из захолустной гильдии, с гербом-ведром на рукаве. Я шёл сквозь них, держа ищейку на ладони, — и она вела.

За архив. Мимо кухни — той самой, где сын повара Хаука, толстый Берт, когда-то носил еду в Крыло. Мимо колодца. К низкому длинному зданию у стены.

Железные ставни. Железные двери. Черепица на дубовых стропилах.

Крыло Вёсен.

* * *

Я остановился у двери.

Ищейка тянула. Внутрь. Через железо, через дерево, через всё.

Крыло было открыто. Дверь — нараспашку. Кандидаты бегали туда и обратно — я видел троих, выскочивших с пустыми руками, ругающихся.

Я вошёл.

Длинный коридор. Железные двери по обе стороны. Те же. Я помнил их — через щель в ставне, год назад, когда Лейн сидел на кровати, обхватив колени, и смеялся, потому что жук тронул его палец усом.

Двери были открыты. За дверьми — комнаты. Двадцать три железные кровати.

Не пустые.

На кроватях сидели дети.

Новые. Я никого не знал. Весенняя партия этого года. Мальчики, девочки. Двенадцать лет, одиннадцать, тринадцать. В серых рубахах. Сидели на кроватях, поджав ноги, и смотрели, как кандидаты Турнира носятся по их комнатам, переворачивают матрасы, заглядывают под кровати.

Никто их ни о чём не спрашивал. Никто на них не смотрел.

Девочка у окна — та, что держала над ладонью маленький водяной шар, как держала другая девочка год назад, — смотрела на меня.

На ищейку у меня на ладони.

— Это светлячок? — спросила она.

— Почти, — ответил я.

— Красивый.

Ищейка тянула. К ней. Нет — мимо неё. К окну. К подоконнику.

* * *

На подоконнике, в щели между железной ставней и камнем, лежали три кристалла. С ноготь. Прозрачные, обезличенные. Два — пустые.

Третий — жёлто-бурый. Тёплый. Мой.

Я взял его.

Ищейка на ладони дёрнулась — и успокоилась. Слабая нить и сильная слились в одну. Ко мне. Светляк нашёл.

Девочка у окна смотрела на кристалл в моей руке.

— Это твой? — спросила малышка.

— Мой.

— Они их ночью положили, — сказала девочка. — Серые. Сказали — не трогать. Сказали — если тронем, Турнир нас запишет, — она подумала. — Я не трогала.

Я смотрел на неё. На водяной шар у неё над ладонью. На железную кровать. На ставню.

На двадцать три кровати в Крыле Вёсен. На детей, которые сидели на них и смотрели, как мимо бегают будущие победители Турнира.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Нелл, — ответила девочка.

— Нелл, — я сунул кристалл в карман. — Если я выиграю — вы отсюда уйдёте.

Нелл смотрела на меня.

— Все так говорят, — спокойно, без обиды ответила она. — Каждый день. Серые говорят — скоро в Академию. Наставник говорит — скоро научишься держать. Мама писала — скоро приедешь домой.

— Я не все, — возразил я.

Нелл подумала.

— У тебя светлячок, — рассудила она. — Ладно. Может быть.

* * *

Когда я вышел из Крыла, солнце ещё не дошло до полудня.

Я нашёл свой. Утром. Одним из первых.

Нет. Не одним из первых. Я увидел это, когда подошёл к воротам, где серые писари за длинным столом принимали кристаллы и записывали имена. Перед столом стояла очередь — человек пятнадцать. Уже.

Писарь взял мой кристалл. Посмотрел на свет. Капнул на него чем-то из склянки — кристалл вспыхнул жёлто-бурым.

— Тэйн, — прочёл писарь. — Седьмая Опора, — и записал. — Двадцатый.

— Двадцатый?

— Двадцатый нашедший свой, — серый поднял на меня глаза. — Из тысячи двухсот. Неплохо.

Я посмотрел на очередь. На тех, кто был передо мной.

Первым в списке, который писарь держал перед собой, — я разглядел вверх ногами, — стояло имя. Записанное почерком-линейкой. Ещё до рассвета, наверное. Через сто вдохов после того, как открылись ворота.

«Сэлин Тайр. Тихая заводь».

Вторым — «Кассиан Орре. Академия».

* * *

Сорен вернулся к полудню. С тремя кристаллами.

Один — свой. Тёплый, серый, ровный, — Сореновый. Два — чужие.

— Великие гильдии, — сказал разведчик, садясь рядом со мной на ступени у ворот. — Корнелий Орре и ещё двое из «Золотого Круга». Они нашли свои ещё утром. И пошли искать чужие, — он подбросил чужой кристалл на ладони. — Не отдавать. Прятать. Глубже.

— Иверна сказала — Реестр запишет.

— Иверна сказала — баллы меньше, но баллы, — Сорен посмотрел на стену. На серых. — Корнелий прятал кристаллы захолустных. Тех, что внизу, у лестницы, стояли. В колодец. В сточную канаву. Под черепицу на крыше кухни. Я видел, — он вздохнул. — А серые на стене видели меня. Я смотрел, куда они смотрят, когда Корнелий прятал. Потом шёл и доставал.

— Сколько достал?

— Девять, — ответил согильдеец. — Семь уже отдал. Хозяевам. Каждый — баллы, — он показал два оставшихся. — Эти — не могу найти чьи. Серые не смотрят. Видимо, хозяева уже ушли.

Я посмотрел на два кристалла на его ладони. Тусклые, слабые. Захолустные Тиары, едва-едва дотягивающие до второй ступени.

Я сплёл ищейку. Дал ей каплю из первого.

Светляк потянул. Вниз. На лестницу. Туда, где у подножия двухсот ступеней сидела на мостовой девчонка с гербом-ведром на рукаве. И плакала.

* * *

Девчонку с гербом-ведром звали Хэтти. С Мельничного Брода, деревни на реке Вельде, три дня от Ардейла. Гильдия «Полное ведро» — четверо, все родня, вода и колодцы. Её отправили на Турнир, потому что больше было некого: старший брат сломал ногу, а младшему двенадцать.

Она смотрела на кристалл у меня в руке и не верила.

— Мой, — прошептала она. — Мой. Он… тусклый. Я знаю, что тусклый. Я Тиар еле-еле, — девушка взяла его. Двумя руками, как Лейн кошелёк. — Где он был?

— В сточной канаве у кухни, — ответил Сорен. — Под решёткой.

Хэтти посмотрела вверх. На ворота. На белое с золотом в толпе у столов.

— Это они, — сказала девчонка. — Я видела. Светловолосый. Он подобрал мой у колодца — я его почти нашла! — и унёс. Смеялся, — губы у неё задрожали. — Я думала — всё. Домой. Брат будет… — Она не договорила.

— Отнеси к столу, — посоветовал я. — Пока не закат.

Хэтти стояла. Потом вдруг шагнула ко мне и обняла. Быстро, неловко, как обнимают дети. И убежала вверх по ступеням.

Разведчик смотрел ей вслед.

— Баллы, — заметил он. — За чужой отданный — баллы.

— Знаю.

— Я не про это, — Сорен посмотрел на меня. — Она тебя запомнит. Все захолустные тебя запомнят. Их тут шестьсот.

* * *

Корнелий Орре нашёл нас сам. У ворот, когда Сорен отдавал писарю последний чужой кристалл.

Высокий, плотный, светловолосый. Белое с золотом, медаль «Золотого Круга» на груди. Лицо — красивое, гладкое, улыбающееся. Подбородок — как у Кассиана. Глаза — нет. Глаза у Кассиана были серые и холодные. У Корнелия — голубые и пустые.

— Лесоруб, — весело сказал он. — Из-под моста. С жуками.

— Я.

— Мой кузен, — продолжил Корнелий. — Бывший кузен. Кассиан. Говорит о тебе каждый вечер в Академии. Мне рассказывали, — он улыбался. — Говорят, ты разбил ему жизнь. Утопил его отцовские копи. Отобрал имя.

— Он сам отдал.

— Конечно, сам, — согласился наследник Орре. — Все Орре делают всё сами, — он посмотрел на Сорена. — А ты — ножовый. Ходишь по двору и подбираешь то, что я положил. — Пауза. — Это было неаккуратно.

Разведчик не ответил. Смотрел на него. Как на противника с ножом.

Корнелий засмеялся.

— Увидимся на холмах, — бросил он. — Или в Чаше. Дядя Кассий передавал — дом Орре ждёт. Как ждал Варда.

Корнелий ушёл к своим. Белое с золотом сомкнулось вокруг него.

— Он сказал «неаккуратно», — тихо заметил Сорен.

— Слышал.

— Как Сейн.

— Как Сейн.

Сорен потёр белую полосу на левой руке.

— Чешется, — пробормотал он.

* * *

Иверна стояла у ворот, когда мы уходили. Одна. Серые — на стене.

— Вы нашли свой в Крыле, господин Тэйн, — произнесла она. Не вопрос.

— На подоконнике.

— Я положила его туда сама, — сказала Иверна. — Ночью, — она смотрела на меня бесцветными глазами. — Я хотела, чтобы вы туда вошли. Посмотрели. До того, как пойдёте дальше.

Я молчал.

— Крыло работает по закону, — продолжила она. — До вашего прошения. Если оно будет. — Пауза. — Девочку с водяным шаром зовут Нелл. Ей одиннадцать. Её привезли в весенней партии. Из-под Ардейла.

Из-под Ардейла. Где Орвин учился в школе при ратуше. Где меня отвели к Камню.

— Почему вы мне это говорите?

Женщина в сером открыла книжку. Закрыла.

— Потому что вы сказали ей «если я выиграю», — ответила она. — Я стояла в коридоре, — Иверна повернулась к воротам. — Не говорите таких вещей детям, господин Тэйн. Если не уверены.

— Я уверен.

Она остановилась. Не обернулась.

— Тогда выигрывайте, — сказала Иверна.

* * *

Рия нашла свой к середине дня. Подруга шла по двору с поднятой ладонью — без перчатки, — и линии под кожей светились тускло-красным. Она шла, как идут по следу тепла. И нашла — в кухне, в печи, в золе, где кристалл лежал среди углей.

— Он был тёплый, — рассказывала она. — Мой огонь в нём. Я чувствовала, как чувствуешь кота под одеялом.

Брам нашёл свой к вечеру. Обнюхав, по его словам, всё здание архива. «Дед учил — медведь находит мёд по запаху. Мой эфир пахнет мёдом». Никто не стал спорить.

Лориан — к полудню. Ветром: он поднял сквозняк над двором, и кристаллы — лёгкие, с ноготь — зазвенели в своих тайниках. Свой звенел иначе.

Эдрик — к вечеру. Он хромал по двору весь день, с тростью, и находил чужие кристаллы и раздавал хозяевам, а свой нашёл последним. Под скамьёй в Железном зале. «Все искали в архиве. Никто — в Железном зале. Там слишком неприятно».

Корнелий Орре — утром. Пятым.

* * *

На закате серые закрыли ворота.

Иверна стояла на стене. Смотрела вниз, на двор. На тысячу двести человек — уставших, грязных, злых, счастливых.

— Первый холм, — объявила она. — Нашли свой — восемьсот четыре. Не нашли — четыреста десять. — Пауза. — Реестр записал всех.

Иверна открыла книжку.

— Отдавших чужие хозяевам — сто тридцать один. Спрятавших чужие — двадцать шесть, — женщина в сером посмотрела вниз. Не на всех. На одного. На Корнелия Орре в белом с золотом. — Реестр записал.

Корнелий улыбнулся. Безмятежно.

Иверна закрыла книжку.

— Завтра — Восточный холм, — сказала Иверна. И ушла со стены.

* * *

Мы спускались по двумстам ступеням в сумерках. Сорен, Рия, Брам, Лейн — он весь день сидел у ворот с Исой и считал, кто выходит с кристаллом, — и я.

У поворота, на сотой ступени, я остановился. Обернулся.

Крыло Вёсен было видно отсюда. Низкое, длинное, с железными ставнями. В одном окне — свет. Тусклый, голубой. Шар воды над ладонью, подсвеченный изнутри.

И голоса. Тонкие, далёкие, через двор, через стену.

— Раз — я держу. Два — я держу…

— Тридцать пять дней, — произнёс я.

Рия стояла рядом.

— Что?

— До прошения. Тридцать пять дней.

Подруга посмотрела на Крыло. Потом на меня.

— Тридцать четыре, — поправила она. — Сегодня уже кончился.

* * *

В «Бочке» Иса ждала нас с баллами.

Она была у стола писарей весь день. Сидела рядом с Ферном — тот выпросил её себе в помощницы «по старой дружбе с Седьмой Опорой». Записывала. Считала.

— Тэйн — двадцатый, — доложила счетовод. — Сорен — сорок первый, но у него семь отданных чужих, это много. В сумме — двенадцатый по холму, — она перевернула страницу. — Рия — сто восьмой. Брам — шестисотый. Лейн — не кандидат, но ему Ферн дал баллов за помощь. Шутка, — Иса подняла глаза. — Не шутка. Ферн записал.

— Кто первый? — спросил Сорен.

Счетовод посмотрела на него.

— Сэлин Тайр, — ответила она. — Через сто вдохов после ворот. Сразу к тайнику. Будто знала.

— Знала?

— Ферн говорит — она подошла к столу с кристаллом, когда остальные ещё толкались у архива. Положила. Улыбнулась. Ушла, — Иса закрыла книгу. — Её кристалл был спрятан на крыше Железного зала. Под черепицей. В самом дальнем углу. Его прятал серый, который с ней ни разу не говорил.

— Как она нашла?

Иса ответила не сразу.

— Ферн говорит — когда она уходила со двора, над её плечом летел мотылёк. Серебристый.

Глава 6. Восточный холм

— Огонь, — произнёс Хорвен.

Магистр стоял на помосте посреди площади в Кедровом. На том месте, где неделю назад стояла башня праздничного огня. Башню разобрали — от неё осталось только чёрное пятно на мостовой и запах гари, который не выветрился. Хорвен стоял на этом пятне. Высокий, сухой, с обожжённой бородой, — нарочно, я думаю.

Перед ним, на столах, стояли фонари.

Тысяча. Может, больше — восемьсот четыре, сказала потом Иса, по числу прошедших Северный холм, и ещё сотня запасных. Простые, медные, со стеклянными стенками, с кольцом сверху, чтобы нести. Внутри — фитиль. Не зажжённый.

— Кедровый квартал горел год назад, — низким, хриплым голосом начал он, и его слышала вся площадь. — Огонь шёл по галереям. От дома к дому. Как по фитилю, — старик провёл рукой над столами. — Сегодня по галереям пойдёте вы. С огнём в руках.

Магистр коснулся ближнего фонаря. Фитиль вспыхнул. Не жёлтым — рыжим. Ярким. Живым. Пламя за стеклом шевельнулось, как шевелится котёнок, проснувшись.

— Живой огонь, — пояснил Хорвен. — Мой. Он чувствует, кто его несёт. Если вы боитесь — он растёт. Если злитесь — растёт. Если бежите — растёт. — Пауза. — Если он вырастет больше стекла — фонарь лопнет. Огонь выйдет, — магистр посмотрел на галереи над площадью. Новые, светлые, лиственничные. — Тогда мои огневики его возьмут. А вы — выбыли.

Толпа молчала.

— Маршрут — по галереям, — продолжил Хорвен. — От этой площади до Сенной улицы. Тот путь, по которому шёл огонь год назад, — он посмотрел на меня. Через всю площадь. — Тот путь, где его остановили.

* * *

Мне дали фонарь сто сорок седьмым.

Он был тёплым. Не от огня — от того, что внутри. Я держал его за кольцо, и пламя за стеклом повернулось ко мне. Как поворачивается собака на голос. Посмотрело. Если у огня бывают глаза.

И выросло.

На волос. На полволоса. Чуть-чуть. Но выросло.

Я смотрел на него и понимал: он чувствует. Не страх — я не боялся. Не злость. Что-то другое. Год назад я стоял на этой площади и смотрел, как огонь лезет в окна «Смоляной бочки», как Одда стоит в ночной рубахе посреди улицы, как Лейн бежит по галереям с горящими рукавами и кричит моё имя.

Огонь это чувствовал.

Я закрыл глаза. Вдох. Выдох.

Раз. Я держу.

Пламя за стеклом опустилось.

* * *

Рия получила фонарь двести третьей.

Подруга взяла его — и пламя внутри легло. Сразу. Как ложится собака у ног. Маленькое, ровное, спокойное, — с горошину.

Хорвен на помосте посмотрел на девушку. На её фонарь. Ничего не сказал. Но я видел, как он кивнул сам себе.

— Он меня знает, — тихо сказала Рия. — Огонь. Он знает, что я его не боюсь.

— А ты не боишься?

Рия посмотрела на галереи. На Сенную улицу в конце — туда, куда год назад мы с Исой и Лорианом смотрели и считали, где резать.

— Боюсь, — призналась она. — Но не его.

* * *

Маршрут был длинный. Не по прямой — по галереям, как шёл огонь. С площади — наверх, по лестнице, на первую галерею. По ней — над улицей, к дому на углу. Через чердак дома — на вторую галерею. Через переулок — на третью. Вверх, вниз, вбок. Двадцать галерей. Двенадцать чердаков. Три лестницы. Полторы мили.

И препятствия.

Это я понял, когда пошли первые. Двадцать человек — по одному, через каждые десять вдохов. Я стоял внизу, на площади, и смотрел, как они поднимаются по лестнице, держа фонари перед собой.

На первой галерее их встретил ветер.

Не обычный. Сквозняк — резкий, холодный, порывами. Он бил вдоль галереи, как бьёт ветер в трубу, — и фонари в руках у кандидатов раскачивались, и пламя внутри металось.

Ученики Шпиля. Я видел их — двое, в синем, на крыше дома напротив. Делали сквозняк. Лориан говорил, что Шпиль всегда помогает с Восточным холмом. «Помогает» — он сказал это с усмешкой.

Первые двадцать прошли галерею. Трое — нет. У троих пламя выросло от испуга, когда фонарь качнуло, ударилось в стекло — и стекло лопнуло. Огонь выскочил. Огневики Хорвена, стоявшие на крышах, протянули руки — и огонь ушёл к ним. Как вода в песок.

Трое спустились. Выбыли.

* * *

Моя очередь пришла к полудню.

Я поднялся по лестнице. Держа фонарь за кольцо. Пламя внутри — с орех. Спокойное.

Первая галерея. Свежая лиственница под ногами. Я знал этот тёс — его стелил Тамм с Йенсом, весной, когда отстраивали квартал. Хорошо стелили. Ровно. Ни одной щели.

Ветер ударил на середине галереи.

Фонарь качнуло. Пламя метнулось. Я — нет.

Я позвал щитоноску. Одну. Жучок вылетел из ладони, лёг на фонарь — на стекло с наветренной стороны — и прижался краями. Медовый, прозрачный. Ветер ударил в него — и обошёл. Как обходит ручей камень.

Пламя за стеклом успокоилось.

Ученики Шпиля на крыше напротив переглянулись. Один — рыжий, с двумя чертами, тот, что выигрывал на мне сол на «больше десяти», — свистнул. Удивлённо. Потом засмеялся и махнул мне рукой.

Я прошёл галерею.

* * *

На третьей галерее была вода.

Не дождь — сверху, с крыши, кто-то лил. Тонкими струями, как из лейки. Холодными. Садовники — я видел край зелёного рукава над водостоком. «Помогали» тоже.

Вода — на фонарь. Стекло — мокрое. Пламя внутри — дёрнулось, присело, как присаживается кот под дождём. Не погасло. Но выросло — от испуга, оттого что его облили. Прыгнуло к стеклу.

Две щитоноски. Над фонарём. Как крыша. Вода стекала по ним — медовым, по краю, на тёс. Не на стекло.

Пламя опустилось.

Я прошёл третью галерею. И четвёртую. И пятую. На пятой — снова ветер. На седьмой — дым, густой, едкий: кто-то жёг сырые листья в трубе под галереей. На девятой — шум.

Барабаны, громкие, оглушительные, — чтобы испугать. Пламя от барабанов не росло. Пламя от барабанов не пугалось. Пугался я — от неожиданности, на полвдоха, — и оно чувствовало.

Раз. Я держу.

На одиннадцатой галерее я остановился.

Одиннадцатая. Та, где год назад шла линия. Где мы резали. Где Сорен увидел, куда прыгнет огонь, и вытащил семью из дома за вдох до того, как он рухнул.

Сейчас здесь было тихо. Ни ветра, ни воды, ни дыма. Только свежий тёс и солнце.

И человек.

* * *

Человек стоял посреди галереи. В белом с золотом. С фонарём в руке — пламя за стеклом маленькое, ровное. Не спешил. Ждал.

Корнелий Орре.

— Лесоруб, — протянул он. — Догнал.

Я не ответил. Шёл.

— Хорвен сказал — погасить чужой огонь нельзя, — продолжил Корнелий. Он не двигался с места. Стоял посреди галереи, загораживая проход. — Это правда. Нельзя. Реестр запишет, — он улыбнулся. — Но огонь в фонаре — он же живой. Он чувствует. Если рядом кто-то, кто ему не нравится, — он может испугаться. Сам. — Пауза. — Никто не виноват.

Я остановился в трёх шагах.

— Отойди, — потребовал я.

— Пройди, — усмехнулся Корнелий. — Галерея широкая.

Галерея была шириной в два шага. Орре стоял посередине.

Я шагнул. Вправо. К перилам.

Противник поднял свободную руку.

Из воздуха вокруг его пальцев — я не видел откуда — потекло. Вода. Не струёй — лентой. Длинной, гибкой, блестящей, как змея. Она вилась вокруг его руки, сворачивалась кольцами, поднимала голову.

Голову. С глазами. С пастью.

Водяная змея. Сплетённая. Как мои жуки — только из воды.

— Почерк, — пояснил Корнелий. — «Золотой Круг» любит воду. Вода всегда находит щель, — змея скользнула с его руки. По воздуху. К моему фонарю. — Я её не трогаю, лесоруб. Она сама.

* * *

Змея ударила в фонарь.

Не в стекло — в щитоноску на нём. В медовую каёмку. И обвилась. Вода потекла по кайме, ища щель. Нашла — там, где каёмка прилегала к медной раме. Вода просочилась. К стеклу. Внутрь.

Пламя за стеклом зашипело. Сжалось. Выросло — от испуга, от холода, рывком.

Удар в стекло. Трещина.

Я позвал осу.

Не думая. Две нити. Насекомое вылетело из-под куртки — жёлтое, злое, горячее — и ударило змею. В голову. Жало вошло в воду.

Вода — не чувствует боли.

Но тот, кто её плёл, — чувствует.

Корнелий вскрикнул. Схватился за руку. Змея дёрнулась, развалилась — водой, брызгами — на тёс.

Оса развернулась в воздухе. Вернулась ко мне. Села на плечо.

И — я почувствовал это через нить — не успокоилась. Не стала тусклой, как бывает после укуса. Она гудела. Низко, сердито. Как гудит шмель в цветке.

Корнелий выпрямился. Посмотрел на свою руку. Красное пятно на запястье — от осы, через змею, — вздувалось.

— Нечестно, — сказал он без улыбки.

— Ты сказал — она сама, — напомнил я.

Корнелий смотрел на меня. Глаза у него — голубые, пустые — стали чуть менее пустыми.

Он снова поднял руку. Из воздуха потекло. Две змеи. Три.

* * *

Оса на плече — гудела.

Я смотрел на трёх водяных змей, поднимающих головы над рукой Корнелия, и думал не о них. Я думал об осе. Она ужалила — и не отдала себя. Не распалась. Как в Хэлме, когда ужалила белого и вернулась. Как в зале у столбов.

Она хотела ещё.

Она была мала для этого. Я чувствовал. Тело — слишком лёгкое. Жало — слишком тонкое. Она жалила — и тратила себя. Не всю, как раньше, но много. Ещё одного укуса она бы не выдержала.

Не больше. Плотнее.

Как железный. Не заставлять бурого быть железным. Сделать железного с первой нити.

Я отпустил осу.

И сплёл другое.

* * *

Нити шли тяжело. Три — не две. Как железный. Жёлтые — нет. Не жёлтые. Рыжие. Тёмно-рыжие, с бурым, как ржавчина на старом железе. Я плёл и чувствовал, как они ложатся — не тонко, как у осы. Плотно. Туго. Как жилы на руке кузнеца.

Создание село мне на ладонь.

Больше осы. Вдвое. С большой палец. Тело — длинное, тяжёлое, полосатое: рыжее с тёмно-бурым, широкими полосами. Крылья — не прозрачные, дымчатые, коричневатые. Жвалы — мощные, как клещи. И жало — короткое, толстое, загнутое.

Оно гудело. Не как оса — выше, злее. Низко, густо, как гудит большой колокол, если ударить в него кулаком.

Я никогда не видел живого шершня. В Тарвене их не было — слишком холодно. Отец рассказывал: на юге, говорил он, есть оса размером с палец. Злая. Если ужалит — неделю не встанешь. И она не умирает после укуса. Жалит снова. И снова.

— Шершень, — произнёс я вслух.

Корнелий смотрел на мою ладонь. Змеи над его рукой — замерли.

* * *

Шершень ударил первую змею.

Не в голову — в шею, туда, где вода была тоньше. Жало вошло. Корнелий вскрикнул — громче, чем от осы. Змея развалилась.

Шершень не вернулся. Развернулся в воздухе — и ударил вторую. Жало вошло. Корнелий — на колени.

Вторая змея — водой на тёс.

Шершень развернулся. К третьей.

— Хватит! — Корнелий поднял руки. Третья змея растаяла сама. — Хватит. Я… — Он смотрел на свои запястья. Два красных пятна. Вздувающихся. — Я не могу… рукой…

Шершень вернулся ко мне. Сел на плечо. Гудел.

Не тусклый. Не усталый. Живой. Злой. Готовый.

Три нити.

Я посмотрел на свой фонарь. Стекло — с трещиной. Пламя за ним — выросло от всего этого, рвалось, било в стекло.

Раз. Я держу. Два.

Пламя опустилось. Медленно. С орех. С горошину.

Я прошёл мимо Корнелия, стоявшего на коленях посреди галереи. Он не смотрел на меня. Смотрел на свои руки.

Фонарь Корнелия стоял рядом с ним на тёсе. Пламя в нём было огромным. Во всё стекло. Билось.

Стекло лопнуло, когда я дошёл до конца галереи. Огневик Хорвена на крыше протянул руку.

* * *

На Сенной улице, в конце маршрута, стоял стол. За ним — Хорвен. И писари.

Я поставил фонарь на стол. Треснутое стекло. Пламя за ним — с горошину.

Магистр посмотрел на фонарь. На трещину. На меня. На шершня у меня на плече.

— Трещина, — сказал он.

— Водяная змея.

— Знаю. Мне доложили. Огневики на крышах видели, — Хорвен постучал пальцем по стеклу. — Трещина — но не лопнуло. Пламя — меньше, чем у всех, кто пришёл до тебя, — он посмотрел на шершня. Долго. — Это что?

— Шершень.

— Новое?

— Новое. Сегодня.

Старик откинулся на стуле.

— Ты каждую неделю что-нибудь плетёшь новое, лесоруб, — проворчал он. — Колокол — жёлтое. Площадь — купол. Галерея — шершень, — Хорвен покачал головой. — Ты знаешь, сколько лет у моих огневиков уходит на одно новое плетение?

— Нет.

— Пять, — ответил магистр. — Если повезёт.

Хорвен записал что-то. Писарь рядом — тоже.

— Тридцать второй, — объявил писарь.

* * *

Рия пришла первой.

Не по времени — по пламени. Иса сказала потом: её фонарь, когда она поставила его на стол Хорвена, горел меньше, чем когда она его взяла. С маковое зерно. Хорвен смотрел на него сто вдохов. Не говорил ни слова. Потом сказал: «Первая». И записал.

Ветер её не тронул — она держала фонарь у груди, за фартуком. Вода её не тронула — вода испарялась, не долетая, в шаге от её руки. Дым — она прошла сквозь дым, и дым расступился перед ней, как расступается перед огнём сухая трава. Барабаны — ей было всё равно.

Корнелий её не тронул. Корнелий в это время сидел у лекаря Кедрового с двумя распухшими запястьями.

Сорен пришёл сорок седьмым. Ветер, вода, дым — Сорен проходил их, на полвдоха раньше уходя от каждой струи, от каждого порыва. Фонарь у него раскачивался, пламя металось — но он держал его на вытянутой руке, и тело его было спокойно, и пламя успокаивалось.

— Я не боялся, — рассказывал он потом. — Мне было интересно.

Кассиан пришёл третьим. Он прошёл галереи, светя своим лучом перед фонарём — как свеча перед свечой. Ветер в свет не входил. Вода — испарялась.

Сэлин Тайр пришла второй.

* * *

Брам пришёл шестьсот каким-то. Иса не помнила точно. Но пришёл.

Я видел его конец пути — с крыши Сенной, где ждал остальных. Он шёл по последней галерее, огромный, белоголовый, и держал фонарь не за кольцо — обеими руками, прижав к груди. Руки у него были корой. Бурой, шершавой, узловатой, от плеч до пальцев. Фонарь сидел в этой коре, как птенец в дупле.

Ветер его не брал. Вода с крыши стекала по коре. Барабаны — Брам на барабаны засмеялся. Громко, на весь квартал, как смеётся медведь, если медведи смеются.

Пламя в фонаре от его смеха выросло. Сразу. Во всё стекло.

Северянин перестал смеяться. Посмотрел на фонарь. Испугался.

Пламя выросло ещё.

— Не бойся! — закричал Лейн с крыши. Мальчик сидел рядом со мной, свесив ноги. — Брам! Не бойся! Оно от страха растёт! Думай про еду!

Здоровяк посмотрел на Лейна. Подумал.

Пламя в фонаре — опустилось. До ореха.

Брам дошёл до стола Хорвена, поставил фонарь и сказал на всю Сенную:

— Я думал про Оддину похлёбку. Вторую миску.

Магистр смотрел на него. Потом — впервые за весь день — засмеялся.

* * *

Эдрик пришёл к вечеру. Последним из тех, кто дошёл.

Он шёл медленно. С тростью в одной руке, с фонарём в другой. Хромал — на лестницах, на чердаках, на стыках галерей, где тёс был неровным. Падал дважды. Один раз — на колено, на четвёртой галерее, — и фонарь качнулся, и пламя прыгнуло к стеклу, и вся Сенная улица, которая смотрела на него снизу, ахнула.

Молодой лорд сидел на колене. Смотрел на фонарь.

Потом поднялся. Медленно. Опираясь на трость. И пошёл дальше.

Пламя в фонаре — с горошину. Ровное. Спокойное. Будто ему было всё равно, что человек, который его несёт, падает.

— Он не боится падать, — заметила Рия, стоявшая рядом со мной на крыше. — Он падал всю жизнь. С тех пор как ты его вынес из водовода.

Когда Эдрик поставил фонарь на стол, Сенная улица хлопала так, что огневики Хорвена на крышах обернулись.

* * *

Иса рассказала мне об этом вечером. В «Бочке», у углового стола.

— Ферн видел, — начала счетовод. — Он стоял у стола Хорвена, — она понизила голос. — Сэлин поставила фонарь на стол. Хорвен посмотрел на него. И нахмурился.

— Почему?

— Пламя спало, — ответила Иса. — Не горело ровно, как у Рии. Не держалось, как у тебя. Спало, — она подбирала слова. — Хорвен сказал — «живой огонь не спит». Он сказал это Ферну. Шёпотом. «Мой огонь не может спать. Он не умеет».

Я вспомнил огневика на башне. Уснувшего. С рукой на шаре.

Сонная пыль. С крыльев мотылька.

— Она его усыпила, — догадался я.

— Ферн так и подумал, — кивнула Иса. — Он ничего не сказал Хорвену, — она посмотрела на меня. — Это не запрещено, лесоруб. Ничего не запрещено, кроме «погасить чужой». Она не гасила. Она свой — усыпила.

* * *

Ночью шершень сидел на подоконнике.

Я не отпускал его. Сплёл утром — и держал весь день. Через галереи, через Корнелия, через Хорвена, через ужин в «Бочке».

Он не тускнел.

Кандел. Творения держатся сами. Я знал это — с Хэлма, с бурого-часового в клети. Но шершень был другим. Бурый держался тихо, сонно, как держится сучок в дереве. Шершень — держался зло. Он сидел на подоконнике, повернув голову к улице, и гудел. Тихо, низко, непрерывно. Как часовой, который не просто стоит на посту, а ищет, кого бы ужалить.

Рия лежала на тюфяке. Смотрела на шершня.

— Он злой, — заметила она.

— Злой.

— Он мне нравится.

Я засмеялся.

— Сколько у тебя? — спросила подруга. — Нитей.

Я посмотрел внутрь.

Шестнадцать. Три — в шершне. Тринадцать — свободны. Нет.

Не шестнадцать.

Я пересчитал. Медленно, как считают ступени на Шпиле.

Семнадцать.

Одна — новая. Тонкая, тёплая, рыжая, как нить шершня. Выросла сегодня. Где-то на галерее. Между змеёй и пламенем.

— Семнадцать, — сказал я вслух.

Рия улыбнулась. Закрыла глаза.

— Вот и держи, — сонно пробормотала она.

* * *

Ферн пришёл в «Бочку» перед полуночью.

Одда пустила его — она пускала всех, кто стучал, если они не были в сером. Писарь был в чёрном. Сухой, сутулый, с очками на цепочке. Он подошёл к нашему столу, где Иса сидела над книгой. Положил перед ней сложенный листок.

— Пришло сегодня, — сказал старик. — На моё имя. В Палату. С почтовым из Истмара.

Иса развернула листок.

Почерк — крупный, неровный, будто писали в перчатке. Три строки.

«Ферн.

Горст и я — в городе. Не ищи.

Лесорубу скажи — пусть смотрит на Тессина. Не на девчонку. В.»

Иса подняла голову. Посмотрела на меня.

Я смотрел на листок.

Вард был в Аэвене.

Глава 7. Живое и щит

На третий день Сита Осс открыла калитку Императорского парка в шести местах сразу.

— Живое, — объявила она.

Садовница стояла на перевёрнутой бочке у главных ворот, в кожаном переднике, с карандашом в седом пучке. Маленькая, сухая, сердитая. Перед ней — семьсот девяносто кандидатов. Столько осталось после Восточного холма: Иса считала.

— Это Старолесье, — продолжила Осс. — Ему тысяча лет. Топоров тут не было триста, — она посмотрела на меня. Через всю толпу. — Почти не было.

Кто-то засмеялся. Старуха не улыбнулась.

— Пройдёте от южных ворот до пруда с тысячелетним дубом, — сказала она. — Полмили. Через лес. — Пауза. — Не сломав ни одной ветки. Не раздавив ни одного жука. Не содрав ни клочка мха. Не наступив ни на один корень.

Шорох по толпе.

— Мои садовники будут в лесу, — добавила Осс. — Двадцать два. Они слышат живое дерево. Каждую царапину. Каждый сломанный сучок, — она слезла с бочки. — Каждая царапина — минус балл. Каждый раздавленный жук — минус балл. Кто дойдёт с меньшим числом — тот выиграл.

— А если не дойдёт? — крикнул кто-то из великих гильдий.

Садовница посмотрела на него.

— Тогда лес его не пустил, — ответила она. — Это тоже ответ.

* * *

Старолесье было таким же, как год назад. Дубы — в три, в четыре обхвата. Серебристые клёны. Мох под ногами — мягкий, глубокий, как ковёр. Подлеска нет — только папоротник местами, по колено, и упавшие ветки, которые садовники никогда не убирали.

И тишина.

Я вошёл в южные ворота восемьдесят третьим. Передо мной — восемьдесят два человека. Я видел их следы. Через десять шагов от ворот — содранный мох. Через двадцать — сломанная ветка папоротника. Через тридцать — раздавленный жук-олень, огромный, рогатый, на тропинке. Кто-то из великих гильдий шёл, не глядя под ноги.

Я снял сапоги.

Это было не правило — никто не говорил «разуйтесь». Но отец всегда снимал сапоги, когда заходил в старый лес за грибами. Говорил: лес чувствует подошвы. Босую ногу — не чувствует. Босая нога — своя.

Мох под пятками был тёплым. Живым.

Я пошёл.

* * *

Лес меня знал.

Я понял это не сразу. Сначала — просто шёл. Медленно. Глядя под ноги. Обходя корни, переступая через ветки, раздвигая папоротник пальцами, а не плечом. Как ходят по чужому дому, когда все спят.

А потом — почувствовал.

Не через жуков. Я не сажал жуков. Сам. Ладонью. Как чувствовал дерево в Хэлме, когда Закалка сделала тело похожим на жука.

Дубы.

Сорок три дуба, которые я лечил прошлой весной. Короеды в мёртвой сердцевине, ходы по корням, белые меловые кресты садовников на коре. Я выедал короедов жуками — день за днём, дуб за дубом. И сорок четвёртый — тысячелетний, у пруда, — от огня Лейна.

Они были здесь. Вокруг меня. И они — помнили.

Я не знаю, как это сказать иначе. Дерево не думает. Дерево не видит. Но когда я проходил мимо дуба с белым крестом на коре — старым, полустёртым, — я чувствовал его. Как чувствуешь человека в тёмной комнате, когда он смотрит на тебя.

Тёплое. Узнающее.

Корни под мхом — шевельнулись. Не сильно. На волос. Как шевелится спящий, поворачиваясь на другой бок. И там, где я собирался ступить, — корень ушёл. Глубже. Под мох.

Я остановился.

Стоял посреди Старолесья, босой, на тёплом мху, и смотрел на это место. Где был корень. Где его больше не было.

— Спасибо, — прошептал я вслух. Не знаю кому.

* * *

На середине пути я нашёл жука.

Жук-олень. Самец, большой, с ладонь, с рогами, похожими на две медные клешни. Он лежал на спине в следе чужого сапога — глубоком, вдавленном в мох до чёрной земли. Сучил лапами. Не мог перевернуться: края следа были крутыми, а рога тяжёлыми.

Через шаг от него — другой такой же. Раздавленный. Тот, кого я видел у ворот, был не единственным.

Я присел.

Правила Осс были простыми: не раздавить. Про «не помочь» в них не было ничего. Садовники в кронах могли записать прикосновение. Могли — нет. Я не знал. Я посмотрел вверх — в листве шевельнулся зелёный рукав и замер.

Я подставил жуку палец. Рогач вцепился — сразу, жёстко, клешнями в кожу, как цепляются за последнюю ветку. Больно. Я поднял его. Осторожно, медленно. Положил на кору ближайшего дуба, на тёплую, на солнечную сторону.

Жук посидел. Пошевелил усами. И полез вверх. Тяжело, неуклюже, к развилке, к свету.

У меня на пальце остались две красные точки.

— Не записывай, — сказал сверху голос. Тихий, старый. Женский. Не мне — кому-то рядом. — Не записывай это, Брин.

— Он трогал живое, — ответил другой голос. Молодой.

— Он поднимал живое, — возразил старый голос. — Это другое. Осс бы не записала.

Шорох листвы. Тишина.

Я встал и пошёл дальше.

Следующие двести шагов я смотрел не только под ноги, но и в чужие следы. Ещё трёх жуков перевернул. Улитку переложил с тропинки в папоротник. Ящерицу, придавленную отломанной кем-то веткой, — освободил, подняв ветку двумя пальцами и положив её туда, где она не мешала. Ящерица убежала, оставив мне кончик хвоста.

Это стоило времени. Много. Иса потом сказала — я шёл дольше всех из тех, кто дошёл. Но время на Южном холме не считали. Считали только царапины.

А я почему-то думал про Лейна. Как он сидел год назад на корточках у тысячелетнего дуба и гладил кору ладошкой. Как садовники его учили: «Огонь — не враг дереву, если знает, где остановиться».

Лес не враг тому, кто знает, где остановиться. Это я тоже понял тогда, в Старолесье. Не сразу. Через жуков.

* * *

Садовники сидели в кронах. Я видел их — то зелёный рукав на ветке, то лицо в листве, то руку на коре. Слушали. Тихо, неподвижно.

Один из них — старик с белой бородой, тот, что прошлой весной держал корнями ворота от серых, с повязкой на глазах, — сидел на нижней ветке старого клёна. Повязки больше не

было. Глаза у него были мутными, белёсыми — он ослеп, держа ворота. Но лицо он повернул ко мне. Точно. Будто видел.

Слепой ничего не сказал. Только поднял руку. И опустил.

Я прошёл мимо.

* * *

У пруда, на последних ста шагах, был папоротник.

Густой, высокий, по грудь. Стеной. Тропинки не было. Вокруг — следы тех, кто шёл передо мной. Сломанные стебли, примятые листья, вывороченные корни. Широкая просека, проложенная двадцатью кандидатами, которые просто проломились насквозь.

Я остановился у края.

Можно было пройти по просеке. Там уже было сломано. Я бы ничего не сломал — сломали до меня. Садовники бы не записали.

Но лес бы — запомнил.

Я позвал бурых. Не грызть. Не держать. Я посадил их — пятерых — не в дерево. В папоротник. В стебли. Тонкие, сочные, живые. Бурые ушли в них, как уходят в мягкое дерево, — и замерли. Я не дал им грызть. Я дал им слушать.

Через них — я услышал папоротник. Каждый стебель. Где он гнётся, а где ломается. Где корень, а где пусто.

И пошёл. Сквозь. Медленно, как Сорен уходил от кулака Брама. Не раздвигая — проходя. Между стеблями. Там, где они гнулись. Там, где пусто. Бурые слушали — я шёл.

Сто шагов. Ни одного сломанного стебля.

Я вышел на берег пруда. К тысячелетнему дубу.

Отпустил бурых. Они рассыпались бурой пылью — и пыль упала в мох. Тёплая.

* * *

Осс сидела на корне дуба. С трубкой. Рядом — садовница с книгой, записывала.

Садовница посмотрела на меня. На мои босые ноги. На сапоги, которые я держал в руке.

— Ни одного, — удивлённо сказала помощница с книгой. — Мастер. Ни одной царапины. Ни одного жука. Старик Оттар на клёне подал знак — чисто.

Осс выпустила дым.

— Хм, — протянула она. — Лесоруб.

— Мастер Осс.

— Ты разулся.

— Отец так делал.

— Хм, — повторила Осс. Посмотрела на дуб. На чёрное дупло. На молодой побег из него — уже не с тремя листьями, с семью. — Он тебя пустил, — тихо сказала она. Не мне. Дубу. — Старый. Ты его пустил.

* * *

Кассиан пришёл двадцатым. Со своим светом.

Старший Орре не ломал ничего — он резал. Лучом. Аккуратно, тонко, как лекарь. Папоротник, ветки, — он срезал их там, где не мог пройти, и садовники в кронах морщились, будто им самим резали пальцы.

Минус сорок один, сказала потом Иса.

Брам пришёл пятьдесят пятым. Он шёл через лес так, как ходил, наверное, по своим северным холмам, — огромный, тяжёлый, — и лес не ломался под ним. Как не ломается под медведем. «Медведь знает, куда ступить», — сказал он потом. Минус два: раздавленная улитка и сорванный лист клёна, который упал ему на голову сам, но садовники записали.

Рия — минус шесть. Подруга шла медленно, держа ладонь над мхом, — и мох под её ладонью теплел, и она чувствовала, где живое. Но шесть раз ошиблась. «Огонь — не дерево, — сказала она. — Он не понимает, что такое „не наступить“».

Сорен — минус три. Разведчик шёл по веткам. По нижним, толстым, — с одной на другую, как белка, как кот по крышам. Не касаясь земли. Три ветки треснули под ним.

Эдрик не дошёл. Его нога застряла в корнях у ручья — и садовники сказали, что корни его не отпускали час. «Лес не любит хромых, — сказала Осс. — Ничего личного. Хромой не знает, куда упадёт».

Корнелий Орре не дошёл. Он шёл со своими водяными змеями впереди — те пробивали путь, обтекали, размывали мох. Лес закрыл перед ним папоротник у ручья. Стеной. Густой, плотной, — и Корнелий три часа пытался пробиться, пока Осс не послала садовника сказать: всё.

Сэлин Тайр — минус ноль.

* * *

Иса рассказывала вечером. Тихо, только мне.

— Она шла медленно, — начала счетовод. — Ферн сидел у пруда, видел, как она вышла. Медленно, тихо. Ни одного сломанного стебля. Ни одного жука, — Иса смотрела в книгу. — Садовники в кронах… Ферн говорит, они на неё не смотрели.

— Не смотрели?

— Спали, — ответила Иса. — Старик Оттар на клёне. И ещё трое. Там, где она проходила. Сидели на ветках с открытыми глазами и спали. Потом проснулись. Ничего не помнили, — она закрыла книгу. — И лес. Осс сказала мне потом — сама, тихо, у ворот. Сказала: «Лес спал там, где она прошла. Днём. Лес днём не спит, счетовод. Никогда».

* * *

На четвёртый день был Западный холм. Академия.

Двор испытаний — тот самый, где год назад Рия стояла номером двести шесть перед тремя магистрами. Широкий, мощёный белыми плитами, обнесённый колоннадой. Только кругов теперь было не три — двадцать. Серебряных, начерченных на камне. По всему двору.

— Щит, — произнёс магистр с тремя серебряными полосами. Старший, седой, сухой. — Встаньте в круг. Магистры Академии будут бить. Сначала слабо. Потом сильнее. Пока вы не выйдете из круга или не упадёте.

— Чем бить? — спросил кто-то.

Магистр посмотрел на спросившего.

— Всем, — ответил он.

* * *

Это было страшнее, чем галереи.

Я стоял в круге номер одиннадцать и смотрел, как в кругах вокруг меня падают люди. Не умирают — падают. Магистров Академии было двадцать. По одному на круг. И они били.

Сначала — слабо. Как Лориан бил меня сквозняком во дворе Шпиля. Пробно. Потом — сильнее. Через сто вдохов — так, что кандидаты в соседних кругах отлетали, как сухие листья, и выкатывались за серебряную черту. Через двести — так, что падали и не вставали.

Магистр в моём круге был молодой. Худой, с одной полосой на рукаве. Он бил льдом.

Сначала — иглами. Тонкими, как волос, ледяными, холодными. Они летели в меня, и я вывел Покров — на всё тело, сразу, — и иглы соскальзывали. Тихо звеня, падали на камень и таяли.

Потом — градом. Ледяные шарики, с горошину, с орех, с кулак. Покров держал. Один шарик, с кулак, попал в лицо — Покров дрогнул, не порвался. Отдача — щелчком в нос.

Потом — копьём.

Ледяное копьё. С руку длиной. Белое, гудящее, вращающееся. Оно летело в грудь.

Я позвал щитоносок. Шесть. Сплёл — на себе, на груди, поверх Покрова. Медовый щит, сцепившийся краями.

Копьё ударило.

Две каёмки лопнули. Третья — потекла, оплыла вокруг ледяного острия, как оплывает воск у свечи. И сжала. Лёд под медовым — зашипел, потёк, растаял.

Копьё упало мне под ноги. Обломком.

Двойная отдача. В висок, в зубы. Я стоял.

Противник смотрел на меня. На щит у меня на груди. На обломок копья.

— Ещё? — спросил магистр.

— Ещё, — ответил я.

* * *

Я простоял триста двадцать вдохов.

Это было много. Иса сказала потом — тридцатое место. Из семисот.

На триста двадцатом магистр ударил тремя копьями сразу. С трёх сторон. Я закрыл грудь щитом, спину — Покровом, а третье копьё пришло снизу, в ноги, — и Покров на ногах был тоньше, потому что я держал его на груди и спине. Копьё ударило в колено. Покров порвался. Меня развернуло — и я сделал шаг. Один.

За серебряную черту.

Магистр опустил руки.

— Хорошо, — удивлённо, по-молодому сказал он. — Ты держал не так, как держат. Ты держал… кусками, — маг подумал. — Как черепица. Если одна плитка лопнет — остальные держат.

— Как кольчуга, — ответил я, вспомнив Кассиана.

— Как кольчуга, — согласился молодой магистр. — Только кольчугу не плетут на ходу.

* * *

Хорвен смотрел на мой круг.

Я заметил его только после того, как вышел за черту. Он стоял под колоннадой, в тени, в простой серой мантии без полос, — высокий, сухой, с рыжей бородой с проседью. Тот, кто год назад принимал Рию. Тот, кто на празднике собрал огонь с крыш в ладонь и отпустил в небо цветком.

Он подошёл, когда я сел на ступеньку колоннады натягивать сапоги — разуваться в Академии я не стал, а ноги после леса всё ещё помнили мох.

— Можно? — спросил он и сел рядом. Не дожидаясь ответа.

— Магистр.

— Я видел твой купол, — сказал Хорвен. — На празднике. Над детьми. Кривой, жёлтый, три плитки треснули, — он смотрел не на меня — на двор, где в кругах ещё стояли и падали люди. — А сегодня шесть плиток на груди. Ровно. Не кривой.

— Научился.

— За четыре дня, — хмыкнул магистр и погладил бороду. — Знаешь, что такое щит, лесоруб? С точки зрения Академии?

— Нет.

— Стена, — ответил он сам. — Ты ставишь стену между собой и ударом. Чем толще стена — тем лучше щит. Вот вся наша наука. Двести лет учебников, — Хорвен кивнул на кандидатов в кругах. — Поэтому они падают. Стена держит, держит, держит — а потом трескается вся. Разом. И человека за ней сносит.

— А у меня?

— А у тебя — не стена, — продолжил старик. — У тебя черепица. Каждая плитка трескается сама по себе. И отдаёт сама по себе. Ты платишь за каждую — но платишь по чуть-чуть. И стена не падает целиком, — он посмотрел на свою ладонь, на старый ожог на ней. — Мы так не умеем. Плитка — это отдельное живое. Наши щиты не живые.

Хорвен встал.

— У тебя будет финал с Кассианом, — спокойно, как говорят о погоде, сказал он. — Если оба дойдёте. Он режет две плитки за вдох. Я смотрел, как он тренируется. Он знает.

— Я знаю, что он знает.

— Хорошо, — кивнул Хорвен. — Тогда подумай вот о чём. Он режет две. А ты сколько плетёшь за вдох?

И ушёл. Под колоннаду. В тень.

Я сидел с одним сапогом на ноге и думал. Две за вдох режет. Я — одну плету. Иногда полторы. Если научиться плести три…

Или — если научиться плести их не на себе. Где-то, где его луч не ждёт.

* * *

Брам простоял четыреста.

Это было лучшее, что случилось за день. Он стоял в круге номер семь, весь — корой. С ног до головы. Бурый, шершавый, узловатый, — как огромный пень, вросший в белые плиты. Магистр бил его огнём. Огнём, который не брал кору. Потом молнией — которая уходила по коре в камень. Потом — каменными глыбами, которые раскалывались об него.

На двухсотом вдохе кора начала трескаться. На трёхсотом — сыпаться. На трёхсот шестидесятом Брам стоял уже не корой — собой, красным, потным, с содранной кожей на плечах.

И стоял.

На четырёхсотом магистр опустил руки. Сам. Посмотрел на северянина.

— Хватит, — выдохнул он. — Ты меня утомил.

Здоровяк вышел из круга. Сел на плиты. Посмотрел на меня через двор.

— Двести! — заревел он. — Дед говорил — двести! Я — четыреста!

Двор хлопал. Даже великие гильдии.

* * *

Кассиан простоял шестьсот. Он не защищался — он отвечал. Каждый удар магистра встречал лучом: резал лёд, резал камень, резал огонь пополам. Магистр Академии бил своего студента, а студент разбирал его удары, как разбирают дрова. На шестисотом магистр сказал: «Достаточно, Орре», — и сам вышел из круга.

Первое место.

Рия — двести. Её били водой. Вода испарялась у её ладоней — но магистр бил ведрами, потоками, водопадом. Рия держала, сколько могла. Пар стоял над её кругом, как над котлом прачки. Потом вода её свалила.

Сорен — сто восемьдесят. Он не держал удары — он уходил от них. Внутри круга. На полвдоха раньше. На вдох. Ни один удар его не коснулся. Но круг был маленький, а магистр — терпеливый. На сто восьмидесятом Сорен ушёл от удара и наступил на черту.

— Я не держал, — признался он мне потом. — Я просто не попадался, — Сорен почесал белую полосу на руке. — Этого мало для щита.

Сэлин Тайр простояла пятьсот девяносто.

* * *

Я видел её. Её круг был через три от моего.

Островитянка стояла в центре. Неподвижно. В сером платье, в белых перчатках. Не поднимала рук. Не защищалась. Не уходила.

Магистр бил её огнём. Огонь проходил сквозь неё.

Не сквозь — мимо. Чуть-чуть. На волос. Будто она стояла не там, где стояла, а на полшага левее. Огонь шёл туда, где она была, — и проходил там, где её не было. Как проходит рука сквозь отражение в воде.

Магистр бил молнией. Мимо. Льдом. Мимо. Камнем. Мимо.

На пятьсот девяностом магистр опустил руки. Не устал — я видел, что не устал. Испугался. Он смотрел на неё — на её спокойное смуглое лицо, на белые перчатки, — и лицо у него было белым.

Сэлин посмотрела на него. Улыбнулась. Той же улыбкой, что на ступенях Палаты. Красивой и пустой.

И шагнула за черту. Сама.

— Хватит, — певуче произнесла она. — Вы устали.

* * *

Вечером в «Бочке» Иса разложила баллы.

— После четырёх холмов, — начала счетовод. — Из семисот шестидесяти, кто ещё в Сите, — она провела пальцем по листу. — Тэйн — девятый. Кассиан — второй. Сэлин Тайр — первая. Рия — двадцать шестая. Сорен — тридцать первый. Брам — сто двенадцатый. Лориан — четырнадцатый. Эдрик — двести восьмой. Корнелий Орре — сто сорок пятый.

— Сто двадцать восемь проходят, — напомнил Сорен.

— Сто двадцать восемь, — кивнула Иса. — Осталось три холма.

Счетовод закрыла книгу. Посмотрела на меня.

— Девятый, — сказала она. — Из тысячи двухсот.

— Первая — она.

— Первая — она, — согласилась Иса. — Через сто вдохов на Северном. Без единой царапины на Южном. Пятьсот девяносто на Западном. Второй на Восточном, — она посмотрела в окно. — Она не устаёт, лесоруб. Ни на одном холме. Ни разу.

— Я знаю.

— И ни разу не соврала, — тихо добавила Иса. — Ни одного слова. Ни на одном холме.

Под рубахой у меня капля янтаря была холодной.

Впервые за всё время в Аэвене.

Глава 8. Сто двадцать восемь

Золотой холм начинался там, где кончалась мостовая из серого камня и начиналась мостовая из жёлтого.

Жёлтая, гладкая, будто натёртая воском. Окна — в рост человека, без переплётов. На каждом крыльце — медная доска с именем. Орре. Орре. Ван Дейл. Орре. Ферро. Орре.

— Половина холма — их, — шепнула Иса, пока мы поднимались в общей толпе. — Другая половина им должна.

Испытание было в Монетном дворе. Огромное здание без окон, квадратное, как сундук, — с одной дверью, окованной железом. Над дверью — золотой круг. Литой, с колесо телеги.

— Давление, — объявил человек у двери.

Корнелия на холме не было — он выбыл после Южного. Вместо него у двери стоял его дядя. Седой, круглый, в бархате, — Бартоломей Орре, глава «Золотого Круга». Он улыбался всем, как улыбаются должникам.

— Внутри, — сказал глава Круга, — двенадцать мастеров. Они будут давить. Не на вас — на ваш эфир. Как давят на виноград. Ваше дело — удержать плетение. Любое. Самое простое. Кто удержит дольше — тот выиграл.

* * *

Нас впускали по двадцать.

Внутри Монетного двора был один зал. Круглый, высокий. Свет шёл от двенадцати жаровен вдоль стен. У каждой жаровни сидел мастер в золотой мантии. Ладони на коленях, глаза закрыты.

Посередине зала, на каменном полу, — двадцать белых кругов. Я встал в свой.

— Плетите, — сказал голос от двери.

Я позвал бурого. Одного. Самое простое, что умел, — одна нить, первое плетение. Жучок вылупился у меня на ладони и сел, поводя усиками.

Мастера открыли глаза — и начали давить.

Сначала я ничего не почувствовал. Потом — воздух стал гуще. Как перед грозой. Потом — тяжелее. Бурый у меня на ладони дрогнул. Прижался к коже.

Это было похоже на Приглушение — только снаружи. Двенадцать человек сразу давили на мой эфир. Не на меня — на нити. Нити гнулись, как гнутся ветки под снегом. Жук распластался по ладони. Усики у него задрожали.

В соседнем круге у девушки из «Синей волны» лопнула водяная сфера. Просто лопнула — и плеснула на пол. Она вскрикнула и села.

Через десять вдохов — ещё трое. Через двадцать — семеро.

Я держал.

Тяжесть была не в руках, а за глазами, там, где сидит Искра. Будто кто-то положил ладонь мне на темя и давит. Ровно, без злобы.

На сороковом вдохе я почувствовал соль.

* * *

Не во рту. Внутри.

Я уже знал это чувство. В Хэлме, на нижнем горизонте, где соль гасила любую Искру, — моя не гасла. Не до конца. Иверна говорила: устойчив наполовину. Корвиан говорил: кровь. Я не понимал, что это значит, — только знал, что там, где другие слепнут, я вижу. Плохо, но вижу.

Давление Круга было похоже на соль.

Не такое же. Похожее. Оно давило — а что-то во мне, глубоко, давило в ответ. Не сильно. Как сжатая пружина.

Бурый перестал дрожать.

Я посмотрел на жука. Он сидел на моей ладони, прижатый, сплющенный, — но целый. И нити у него были не гнутые, а… плотные. Сжатые. Как волокна в мокром дереве.

На шестидесятом вдохе в зале осталось шесть человек из двадцати.

На восьмидесятом — трое. Я. Высокий парень из Академии с огненной искрой на ладони. И девушка в белых перчатках через четыре круга от меня.

* * *

Сэлин Тайр стояла так же, как на Западном холме. Неподвижно. Руки опущены. Над её левым плечом висел серый ночной мотылёк.

Он не дрожал.

Ни крылом. Будто никакого давления не было.

Все двенадцать мастеров перевели глаза на неё. Давили на неё — все сразу.

Мотылёк не дрожал.

Парень из Академии упал на сотом вдохе. Огонь у него на ладони погас, он покачнулся и сел на пол. Рукавом вытер кровь из носа.

Остались двое.

Я и она.

Сэлин повернула голову. Посмотрела через четыре круга — на моего жука — сплющенного, прижатого к ладони, но целого.

И улыбнулась. Маленькой, удивлённой улыбкой.

— Соль, — беззвучно, одними губами произнесла она.

Я понял. Не знаю как — но понял.

Она знала.

* * *

На сто двадцатом вдохе я начал терять жука.

Не нити — меня самого. Голова кружилась. Перед глазами плыли жёлтые пятна. Пружина внутри держала, но я сам — нет. У меня подгибались колени.

Мотылёк над плечом Сэлин висел ровно. Как нарисованный.

На сто тридцатом я опустил ладонь. Сам. Бурый соскользнул на пол и рассыпался бурой пылью.

Я вышел из круга.

Мастера Круга закрыли глаза. Одиннадцать. Двенадцатый — старый, лысый, с золотой серьгой в ухе — смотрел на меня. Как торговец на монету, в которой не уверен.

Сэлин Тайр простояла ещё сорок вдохов. Потом мотылёк опустился ей на ладонь. Островитянка вышла из круга и поклонилась мастерам. Каждому. По очереди.

— Благодарю, — певуче сказала она. — Было очень… тяжело.

Не было, подумал я. Тебе не было тяжело. Ни на вдох.

* * *

Снаружи меня ждал Бартоломей Орре.

— Сто тридцать вдохов, — произнёс он. — Второе место. Мой племянник говорил о тебе неаккуратно, — Бартоломей посмотрел на меня, как мастер с серьгой в зале. — Скажи мне, лесоруб. Ты бывал в соляных копях? Не отвечай. Я вижу, что бывал, — толстяк улыбнулся. — Мой дом открыт для тех, кто держит давление. Подумай. После Чаши.

И ушёл вниз по жёлтой мостовой, переваливаясь.

Иса стояла у стены. Она всё слышала.

— Корабли, — тихо сказала она. — Орре возят соль из Тирры. Через северную гавань, — счетовод посмотрела ему в спину. — И не только соль, лесоруб.

* * *

Вечером, в «Бочке», Иса учила меня Уставу Палаты.

Это было за кулисами — Иса не могла выйти на холм за меня. Но холм Палаты — Хитрость — объявили заранее, на доске у ворот: «Получить оттиск печати Канцелярии на чистом листе. До вечернего колокола. Без силы».

Без силы. Значит, ни жуков, ни огня, ни ветра. Только голова.

— Тысяча двести кандидатов, — начала Иса. — Нет, уже меньше. Шестьсот. И одна печать, — она развернула на столе Устав — толстый, в коже, в закладках. — Печать Канцелярии ставят только по прошению. Через писаря, секретаря, помощника и хранителя, — счетовод постучала пальцем по столу. — Четыре двери. Каждая — очередь. Каждая очередь — день.

— А у меня — один день.

— Именно, — кивнула Иса. — Значит, через двери не пройти. Значит, надо через Устав.

Счетовод листала. Сорен грыз яблоко. Рия спала на лавке — после Золотого холма у неё был жар. Эдрик у очага растирал хромую ногу.

— Вот, — Иса ткнула пальцем в страницу. — Статья двести двенадцать. «О неотложном». — И прочитала: — «Если прошение касается жизни, свободы или имущества подающего и не может ждать очереди, подающий вправе требовать немедленного рассмотрения любым должностным лицом Канцелярии, имеющим печать», — она подняла глаза. — Любым. Не только хранителем.

— У кого ещё есть печать?

— У трёх человек, — ответила счетовод. — У хранителя. У его первого помощника. И у… — она полистала, — дежурного писаря ночной стражи. Который спит днём.

— А днём?

— А днём он спит в комнате за архивом, — пояснила Иса. — И печать — у него на шее. На шнурке.

— Разбудишь его, — продолжила она. — По статье двести двенадцать. С неотложным прошением, — счетовод посмотрела на меня. — Какое у тебя неотложное прошение, лесоруб? Касающееся жизни, свободы или имущества?

Я подумал.

— Залог, — ответил я. — Пять ауреонов Лейна. Залог возвращён, но расписки Палаты нет. Если завтра у меня спросят расписку, а её нет, — я выбываю из Турнира.

Иса смотрела на меня.

— Это правда? — прищурилась она.

— Нет, — признался я. — Расписка у тебя. Но я её не видел.

Иса засмеялась — первый раз за неделю.

— Это неотложно, — сказала она. — Это касается имущества. И это не враньё — ты действительно её не видел, — Иса закрыла Устав. — Хорошо. А теперь слушай. Статья двести двенадцать, параграф третий: «Должностное лицо не вправе отказать в рассмотрении, но вправе отказать в удовлетворении». Писарь тебе откажет. Конечно, откажет. Но чтобы отказать — ему надо записать отказ. На чистом листе, — она подняла палец. — И приложить печать. Отказ без печати — не отказ.

Сорен положил яблоко на стол.

— Иса, — протянул разведчик. — Ты страшный человек.

— Я счетовод, — невозмутимо ответила она.

* * *

На холме Палаты всё было так, как она сказала.

Шестьсот кандидатов. Четыре двери. Очереди. Кассиан терпеливо стоял в очереди к писарю. Лориан не стоял — он сидел на ступенях снаружи и смотрел в небо. Брам пытался объяснить секретарю, что дед велел выиграть или накормить, и секретарь дал ему пирожок.

Я пошёл в архив.

Писарь ночной стражи спал. В душной комнатке за архивом, на узкой койке, храпел. На шее у него на засаленном шнурке висела печать. Медная, с гербом Канцелярии — свиток и ключ.

Я постучал в косяк.

Он не проснулся.

Я постучал громче. Сказал:

— Неотложное прошение. По статье двести двенадцать.

Писарь открыл один глаз. Посмотрел на меня. Закрыл.

— Днём не работаю, — буркнул он.

— Статья двести двенадцать, — повторил я. — Любое должностное лицо, имеющее печать. Не вправе отказать в рассмотрении.

Писарь открыл оба глаза.

— Кто тебя научил? — спросил он хмуро.

— Счетовод, — ответил я.

* * *

Он отказал мне через сто вдохов. Написал отказ на чистом листе: «В рассмотрении неотложного прошения о расписке в залоге отказано за отсутствием неотложности». Подписался. Подышал на печать. И приложил.

Красный оттиск. Свиток и ключ.

Я взял лист.

— Ты понимаешь, что я тебе отказал? — спросил писарь, уже совсем проснувшись.

— Понимаю.

— А зачем тогда?

Я показал ему оттиск. Свежий, ещё влажный.

Чиновник посмотрел на оттиск. На меня. Опять на оттиск. Потом лёг обратно на койку и закрыл глаза.

— Иди, — проворчал он. — И скажи своему счетоводу, что я её ненавижу.

Я вышел. Было ещё утро. Колокол на Доме Колоколов бил только третий раз.

* * *

Я мог уйти. Испытание было сдано. Лист с печатью — у меня в руке.

Но у ворот Палаты стояла очередь к четвёртой двери. К самому хранителю. И Ферн говорил: «Посмотрите ему в лицо». И Вард писал: «Пусть смотрит на Тессина».

Я встал в очередь.

К полудню я стоял у двери.

Она открылась. Секретарь — молодой, бледный, в чернилах по локоть — посмотрел в свой список.

— Номер четыреста восемнадцать, — прочёл он. — Тэйн. Истмар. Седьмая Опора, — и поднял глаза. — Лорд-хранитель примет вас.

* * *

Кабинет был небольшим.

Ни золота, ни бархата. Деревянный стол. Два стула. Книжные полки до потолка. Одно окно, узкое, на восток. Запах воска, бумаги и — я не сразу понял — моря. Соль и водоросли. Как в Тирре.

За столом сидел старик.

Маэр Тессин был маленьким. Это первое, что я заметил. Маленьким и сухим, как ветка, которую забыли в печи. Седые редкие волосы, тонкие губы, руки в старческих пятнах, сложенные на столе. На груди — цепь. Тяжёлая, золотая, с печатью на конце — большой, с кулак, со свитком и ключом.

Глаза у него были серыми, светлыми, спокойными.

Я посмотрел на него Чутьём.

Пусто.

Не так, как пусто у Сэлин, — там пустота была плотной, как стена. Здесь — просто пусто, как в стуле, на котором он сидел. Ни искры. Ни нити.

Человек без Искры. Тридцать лет на должности. Подписывает патенты Орре.

— Садитесь, — предложил Тессин.

Голос у него был тихим, мягким, с тем выговором, который я слышал в Тирре — у рыбаков в порту, у старухи, продававшей нам вяленую рыбу, — округлым, с проглоченными окончаниями. Береговой.

Я сел.

— Тэйн, — произнёс хранитель. — Седьмая Опора. Тот самый, что держал колокольню, — он чуть улыбнулся. — Весь город говорит. Чем могу служить?

— Мне не нужна печать, — ответил я. — У меня уже есть.

Я показал ему лист. Отказ ночного писаря. Красный оттиск.

Старик засмеялся — тихо, сухо, как шуршит бумага.

— Статья двести двенадцать, — сказал он. — Параграф третий. Её не вспоминали лет двадцать, — Тессин покачал головой. — Кто?

— Счетовод.

— Хороший счетовод, — одобрил хранитель. — Берегите её, — он сложил пальцы домиком. — Тогда зачем вы здесь, юноша? Испытание сдано. Очередь длинная.

— Посмотреть, — ответил я.

Тессин не удивился. Ни на волос.

— Посмотреть, — повторил он. — На что?

— На вас.

* * *

Хранитель смотрел на меня. Я — на него.

Это длилось долго. Вдохов двадцать. За окном кричали чайки.

— Кто вам велел? — тихо, ласково спросил Тессин. — Ферн? Нет, Ферн не велит. Ферн советует, — он чуть склонил голову. — Иверна? Нет. Иверна сама бы пришла. — Пауза. — Вард?

Я ничего не сказал.

— Вард, — произнёс Тессин сам себе. Как Бартоломей Орре на крыльце. — Он в городе. Я знаю, — старик посмотрел в окно. На чаек. — Мы с ним знакомы. Давно. Двадцать пять лет. Он тоже приходил сюда. Посмотреть, — хранитель умолк — и я заметил, что он молчит не так, как молчат люди, а как молчит стол или стена. — Он вам говорил, что увидел?

— Нет.

— И не скажет, — продолжил Тессин. — Он не из тех, кто говорит, — хранитель перевёл на меня серые глаза. — У вас южные глаза, юноша. Вам это говорили?

Капля янтаря под рубахой стала горячей.

Горячей, как уголь.

— Нет, — ответил я.

— Южные, — повторил Тессин. — Такие бывают у людей с островов. Или из-за моря, — он улыбнулся. — Впрочем, мне везде мерещится море, — старик встал. Маленький, сухой, с тяжёлой цепью на груди. — Ступайте, юноша. Удачи на Седьмом холме. Я буду смотреть Чашу, — и протянул мне руку. — Мне всегда интересно, кто выиграет прошение.

Я пожал её.

Рука была сухой. Холодной. И пахла морем.

* * *

Иса ждала меня у выхода. Счетовод увидела моё лицо — и ничего не спросила. Только взяла за рукав и повела прочь от Палаты.

На полдороге я сказал:

— Он знает, — выдохнул я.

— Что знает?

— Не знаю, — признался я. — Что-то. Он спросил про Варда. Сам. И сказал, что у меня южные глаза.

Иса остановилась.

— Южные, — повторила она.

— И капля, — добавил я. — Стала горячей. Когда он сказал.

Счетовод смотрела на меня. Потом — назад, на Палату.

— Ферн сказал — посмотреть ему в лицо, — напомнила она. — Ты посмотрел, — Иса отпустила мой рукав. — Что ты увидел?

Я подумал.

— Ничего, — ответил я. — Совсем ничего. Он как пустая комната, Иса. Чистая, тихая, с открытым окном, — я посмотрел на свою ладонь. Ту, что он пожал. — Только из окна пахнет морем.

* * *

Седьмой холм был не холмом.

Это был путь. От Северных ворот, по старой императорской дороге, вокруг стен — до Чаши. Двадцать миль. С грузом.

Груз выдавали у ворот. Каждому — свой. Каменная плита, вырезанная по весу кандидата: сколько весишь ты — столько весит камень. На ремнях, за спиной.

— Выносливость, — объявила Иверна.

Женщина в сером сама объявляла последний холм. Стояла на стене у Северных ворот, в серой мантии.

— Двадцать миль, — сказала она. — До захода солнца. Кто дойдёт до Чаши с камнем на спине — получает баллы по порядку прихода. Кто снимет камень — выбывает. Кто сядет и не встанет — выбывает, — Иверна посмотрела вниз, на нас. На шестьсот. — Без силы — нельзя. С силой — можно. Но помните: вам ещё драться.

* * *

После Закалки я весил больше, чем выглядел. Мой камень был тяжелее, чем у Сорена почти вдвое, а Сорен был выше меня на голову.

Камень Брама был размером с маленький стол. «Дед говорил — носи то, что весишь», — сказал северянин и закинул его на спину так, что затрещали ремни.

Первые пять миль были лёгкими. Я шёл ровно, дыша через нос, как учил отец на долгих переходах. Камень давил на плечи, но тело держало. Закалка. Хэлм. Кора на коже.

На шестой миле я начал отставать от тех, кто шёл с силой.

Я подставил под камень бурых.

Шесть. Они вцепились в ремни снизу, в плиту, в спину, — и держали. Не весь вес. Часть. Как держат подпорки под потолком в шахте. Как держали своды в Хэлме.

Стало легче.

* * *

На двенадцатой миле я увидел Эдрика.

Молодой лорд сидел на обочине. Не упал — сидел, с камнем на спине, вытянув хромую ногу, и смотрел на неё. Лицо у него было белым.

Я остановился.

— Иди, — не поднимая глаз, бросил Эдрик. — Не стой. Баллы.

— Нога?

— Колено, — ответил он. — Оно всегда. На десятой миле. Я знаю, — Вэлмонт невесело засмеялся. — Я думал — дойду до девятой и как-нибудь ещё. Не дошёл.

Я сел рядом. На корточки. Камень потянул меня назад — я упёрся рукой в землю.

— Покажи, — велел я.

Эдрик показал. Колено было распухшим, горячим, под кожей бугрилось что-то. Старая травма. Неправильно сросшаяся.

Я позвал вдову.

Одну. Паучиха вылупилась у меня на ладони — жемчужная, с кругами на спинке, — и Эдрик перестал смотреть на колено.

— Я её помню, — тихо сказал он.

— Она тебя тоже, — улыбнулся я.

Я подобрал у обочины две палки от чьей-то изгороди. Приложил к колену с двух сторон. Вдова пошла кругами, от бедра вниз. В Мёртвом лесу, в водоводе под Старым мостом, она вязала ему эту ногу сто двадцать вдохов, и Рия светила, а сзади звенели крысы. Теперь — шесть.

Паутина легла жемчужным чулком от бедра до щиколотки. Не давила. Держала — не кожу, а ногу целиком, так, чтобы колено не согнулось там, где не должно, и не подломилось.

— Та же нога, — проговорил Эдрик, глядя на чулок.

— Та же вдова, — ответил я. — Встань.

Молодой лорд встал.

Медленно, опираясь на меня. И нога — держала. Эдрик сделал шаг. Второй.

— Не больно, — удивлённо сказал он. — Почти.

— Иди. Не стой.

* * *

Мы дошли до Чаши почти вместе.

Я был Канделом, и вдова держалась сама, без моего внимания, — но не без нити. Нить тянулась от неё ко мне, и дальше полумили она бы истончилась и паутина растаяла бы на ходу. Поэтому я не уходил вперёд дальше, чем на полмили. Шёл, оглядывался на поворотах и чувствовал её — жемчужную искру где-то позади, за холмом, за чужими спинами. На восемнадцатой миле она дрогнула: Эдрик споткнулся. Нить натянулась у меня в запястье — и выдержала.

Чашу я увидел за милю.

Огромная каменная воронка, вырубленная в холме. Ярусы скамей — тысячи мест. На дне — ровная площадка из белого камня. Над краем — флаги великих гильдий. И люди на скамьях — уже смотрели, как мы приходим.

Я вошёл в Чашу на закате. Сто восьмым.

Эдрик — сто двадцать шестым. Последним из тех, кто дошёл до захода.

Когда он вошёл — хромая, медленно, с камнем на спине и с жемчужным чулком на ноге, — Чаша встала. Весь Аэвен. И хлопал. Так, как хлопали ему на Восточном холме, когда он дошёл последним.

Эдрик снял камень. Посмотрел на трибуны. На колено.

На меня — через всю белую площадку.

И поклонился. Низко. Как кланяются колоколу.

* * *

Списки вывесили в ту же ночь. На воротах Чаши, при факелах.

Иса читала их вслух — громко, для всех, кто толпился вокруг. Ей никто не мешал.

— Сто двадцать восемь, — объявила она. — По сумме семи холмов, — и повела пальцем. — Первая — Сэлин Тайр, «Тихая заводь». Второй — Кассиан Орре, Академия. Третья — Талла Ферро, Садовники…

Я слушал вполуха. Сидел на краю каменной скамьи. Ноги не держали. Плечи горели там, где были ремни.

— …одиннадцатый — Тэйн, Седьмая Опора…

— …девятнадцатая — Рия, Седьмая Опора. Тридцать четвёртый — Лориан Хейз. Сорок первый — Сорен, Седьмая Опора. Восемьдесят восьмой — Брам, Медвежий Лог…

— Восемьдесят восьмой! — заревел Брам за моей спиной. — Дед! Слышишь? Восемьдесят восьмой!

— …сто двадцать седьмой, — продолжала Иса, — Эдрик Вэлмонт, Дом Колоколов.

Тишина у ворот. Потом кто-то засвистел, кто-то хлопнул.

Эдрик стоял у стены. Он не хлопал. Он смотрел на список. На свою строчку. Сто двадцать седьмой из ста двадцати восьми.

— Прошёл, — тихо сказал он сам себе. Будто не верил.

* * *

Ночью, в «Бочке», когда все спали, я сидел у окна и смотрел на Чашу. Её было видно отсюда — тёмная воронка, факелы на краю.

Капля под рубахой была тёплой. Не горячей — тёплой. Но на самом дне, в янтаре, если смотреть на свет свечи, — что-то блестело.

Серебром.

Тонко. Как волос.

Я смотрел на неё долго. Потом убрал под рубаху.

Завтра — Жребий.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.